СЕРАФИМ ЧЕТВЕРУХИН

ТОЛМАЧИ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ



Серафим Четверухин

ТОЛМАЧИ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

Дополнения и редакция Сергея Четверухина

Москва 1992

Светлой памяти нашего отца посвящается...

Предисловие редактора

Эта небольшая книга предназначена для широкого круга людей. В ней рассказывается о жизни и деятельности моего отца — протоиерея Ильи Николаевича Четверухина — широко образованного ученого, богослова, проповедника и очень доброго человека, который последние десять лет своей короткой жизни был настоятелем московского храма во имя святителя Николая в Толмачевском переулке. Эта книга и об окружавших его людях, которых называли «толмачевцами».

Основу книги составила первая часть автобиографической повести моего брата Серафима Ильича «Радостная и грустная моя юность». Я дополнил воспоминания брата своими воспоминаниями и примечаниями, а также воспоминаниями мамы и некоторых толмачевцев. Мною подобраны и иллюстрации.

Считаю нужным привести краткие биографические сведения об отце и брате.

Илья Николаевич Четверухин родился в Москве 27 января 1886 года в дворянской семье. Отец его был известным в Москве учителем русской словесности. Окончив с золотой медалью гимназию, Илья поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Но вскоре, глубоко заинтересовавшись религиозными вопросами, оставил университет и поступил в Московскую Духовную Академию. Окончил он ее в 1912 году в сане священника и получил ученую степень кандидата богословия. Темой его диссертации была «Жизнь и труды Аввы Исаака Сирина». Часть диссертации была опубликована в книге «Труды Аввы Исаака Сирина», Сергиев Посад, 1911 г.

В 1912 году наша семья переехала из Сергиева Посада в Москву, где отец стал служить в Ермаковской богадельне в Сокольниках. Он продолжал изучать труды преподобного Исаака Сирина, поддерживал дружеские отношения с отцом Павлом Флоренским, знакомым по Академии, и другими представителями религиозной интеллигенции. Возобновил занятия живописью. В Сокольниках были написаны несколько икон. Наши родители с юности были преданными духовными детьми замечательного старца отца Алексия, подвизавшегося в Зосимовой пустыни. Из Сокольников они часто, иногда со мной и Симой, ездили в этот скит за советом и утеше-

нием. (После смерти отца мама закончила начатое им Жизнеописание старца иеросхимонаха Алексия.)

В 1919 году отец был избран настоятелем Николо-Толмачевской церкви, и мы переехали в дом, ранее принадлежавший храму, в Толмачевском переулке.

В 1930 году отца арестовали, а 18 декабря 1932 года он трагически погиб в лагере на реке Вишере.

Матушка — Евгения Леонидовна, урожденная Грандмезон, родилась в Ярославле 13 декабря 1883 года в семье офицера. Окончила гимназию и музыкальную школу. Она была очень религиозна. Ее глубокая вера в Бога оказала значительное влияние на отца в его решении перейти в Духовную Академию. В Толмачах мама служила на клиросе и продолжала это служение всю свою светлую, долгую и трудную жизнь. Она умерла 9 января 1974 года.

В семье было шесть детей: Сергей (р. 1910 г.), Серафим (1911—1983), Андрей (1914—1943, погиб на фронте), Николай (р. 1923), Ваня и Маша (умерли в младенчестве).

Брат мой, Серафим Ильич, родился в городе Сергиев Посад. Детство провел в Сокольниках. В Толмачах окончил среднюю школу и, не имея возможности получить высшее образование, окончил курсы картографов. В конце 1929 года уехал в Ленинград. Он начал работать на картографической фабрике, сначала техником, затем инженером. Вскоре стал принимать участие в деятельности кружка религиозной молодежи, за что в 1936 году был арестован и приговорен к шести годам лишения свободы. Наказание он отбывал в Воркуте, где затем был оставлен на поселение. Он прожил в Воркуте около 23 лет.

В 1957 году Серафим Ильич был реабилитирован и в 1960 году вернулся в Ленинград на прежнюю работу.

У Серафима с детства были способности к рисованию, а также литературное дарование. Он писал прозу и стихи. Рисовал прекрасные пейзажи. Сейчас его произведения начали печатать.

Умер Серафим Ильич от инфаркта 8 декабря 1983 года.

Серафим Ильич был женат на Ирине Юрьевне, урожденной Вороновой, дочери ученого-ботаника Ю. Н. Воронова. Она работала на той же фабрике, что и брат. После окончания срока заключения Серафима Ильича она приехала к нему в Воркуту и затем вместе с ним вернулась в Ленинград, где живет и сейчас. Их сын Александр (р. 1946 г.) — ученый-египтолог, живет и работает в Петербурге.

Необходимо коротко рассказать и историю Николо-Толмачевской церкви.

Деревянная церковь во имя святителя Николая была воздвигнута в начале XVII в. в старом Замоскворечье, в сло-

боде толмачей — переводчиков. Первое упоминание о ней относится к 1625 году.

В конце XVII века в Толмачах стали селиться торговые люди, и в 1697 году торговым гостем Л. Добрыниным на месте обветшавшего деревянного храма была построена каменная церковь в честь Сошествия Святаго Духа с правым Никольским приделом. Однако церковь продолжала называться Николо-Толмачевской. Новый храм был пятиугольный с шатровой колокольней.

В 1770 году Е. Л. Демидова устроила в трапезной второй придел — в честь Покрова Божией Матери. В таком виде церковь существовала более 60 лет.

Московский пожар 1812 года уничтожил все деревянные дома Толмачевской слободы. Каменная церковь уцелела и послужила надежным убежищем людям, спасающимся от дыма и огня.

К середине XIX века в культуру России вошли новые люди — образованные купцы и промышленники — Мамонтовы, Морозовы, Солодовниковы. В Толмачах была группа таких людей во главе с П. М. Третьяковым. В 1834—58 гг. храм был перестроен по проекту и под руководством архитектора Ф. Шестакова. Были построены обширная трапезная с Покровским и Никольским приделами. Главная часть храма была полностью обновлена: растесаны окна, сооружен новый иконостас, расписаны стены. Была построена большая церковно-приходская школа и добротный дом для причта.

Настоятелями храма были знаменитые и достойные люди — протоиерей Василий Нечаев, впоследствии епископ Виссарион, основатель и редактор журнала «Душеполезное чтение», протоиерей Димитрий Косицын. Он отпевал в Толмачах Павла Михайловича Третьякова, скончавшегося в 1898 году. Часто служил в Толмачах Митрополит Московский Филарет Дроздов.

В начале XX века настоятелем храма стал протоиерей Михаил Фивейский. Последним настоятелем с 1919 года был избран мой отец.

Сергей Четверухин

Москва, 1992 год

«Господи, не доброе ли семя сеял Ты на поле Твоем» (Мф. 13, 27)

Где найти слова, чтобы рассказать о вас, Толмачи?!

Вспоминая жизнь под кровом вашим, вижу не только быт наш в двадцатые годы, не только перекресток в Замоскворечье, тенистые сады, заросшие бурьяном дворы, белый чудный храм или красный кирпичный дом. Вижу большее. Самое необыкновенное из всего, что выпало на мою долю.

И слова мне были бы нужны особые... Жизнь влачилась в скудости — и кипела богатством. Возрастало утеснение — и расширялись дали.

Оплакивались горькие потери — и радостно приобретались друзья. Все оборвалось разрушением, разлукой, рассеянием. Но разрушение, разлука, рассеяние коснулись лишь внешнего.

Так происходил посев. Была раздача талантов. Можно было их умножить, можно зарывать в землю. Однако нельзя вернуть, чтобы избежать отчета...

...В Замоскворечье из Сокольников мы переехали 5/18 июля 1919 г. в Сергиев день. Через десять лет, в конце июня 1929 года храм Сошествия Святаго Духа, попросту — Николо-Толмачевский, был закрыт. Через полгода отец и мать вынуждены были перебраться на край Москвы, совсем. Вскоре арестовали отца. Он не вернулся. Мать переселилась к братьям, в комнатку, оставшуюся от прежней нашей квартиры, и прожила там тридцать пять лет на углу Большого и Малого Толмачевских переулков, напротив изуродованного здания — бывшего храма. Потом и она уехала в другой район Москвы.

Одиннадцать лет — с восьми до восемнадцати — были самыми длинными в моей жизни. И самыми большими. Для старших это были годы ломки, для меня — лепки.

Глава I. ХРАМ

«Дом Мой — домом молитвы наречется» (Мк. 11, 17)

1.

Прекрасен был наш белый храм!

Затерявшийся в тихих переулках, полуприкрытый крышами и деревьями, не привлекал он внимания прохожих. Пятиглавый

куб главного храма был украшен простыми наличниками и изящными раковинами под карнизом, как у Архангельского собора в Кремле. Сбоку прилепились приделы, а над всем высилась красивая стройная колокольня. Крутая темная лестница на нее, в толще стены, пугала, зато какой простор открывался из-под колоколов. Кремль был виден как на ладони. Золотая шапка храма Христа Спасителя, Донской, Симонов, Новоспасский монастыри. Зеленая излучина Нескучного и Воробьевых гор. Трубы, крыши, сады. Облака чуть не задевают. На колокольне был хорошо подобранный набор колоколов, начиная с самых маленьких и звонких и кончая главным — весом 300 пудов (4,5 т), обладавшим чудесным бархатным басом.

В стены храма кое-где вделаны полустертые плиты с древней вязью, погост зарос сиренью, а вокруг — простая решетка между каменными столбиками. На погосте — вросшая в землю оградка — могила старосты церкви, убитого наполеоновскими мародерами на паперти храма, заполненного спасающимися от огня и насилий женщинами и детьми.

Внутри храма — белизна и тишина. Пение, чтение и осторожные шаги не нарушали тишины. Они таяли в ней, как огоньки лампад и свечей, растворялись в благоговейном сумраке.

Белизна ампирных приделов подчеркивала золото главного, исполненного в стиле московского барокко храма. А его праздничность придавала уют приделам. Главный иконостас был пятиярусным, уходящим ввысь, под своды. Иконы нижнего ряда после снятия массивных риз в 1922 году поразили силой красок. Глаза Христа смотрели внимательно, Богородицы-Одигитрии — сочувственно, а святителя Николая — грозно. В верхних рядах попарно, по золотому полю шествовали к Царю Христу чины ангельские, апостольские, пророческие. На стенах скромными красками были написаны новозаветные сцены — Сошествие Святаго Духа на апостолов, беседа Христа с самарянкой, ночной разговор с Никодимом. Между верхними окнами были изображены святители, а ниже, в медальонах — преподобные.

Иными выглядели приделы — Никольский правый и Покровский левый. Они были похожи. В обоих, на четырех белых ионических колоннах, утверждалась полукруглая арка, с круглыми образами в золотом кружеве. Между колонн были почти гладкие золотые киоты с местночтимыми иконами и царские двери с воздвигнутой на них чашей. На чашу в серебряных лучах спускался голубь. На северных и южных дверях были написаны архангелы и архидиаконы. Совсем простыми выглядели белые киоты у стен. Некоторые из помещенных там икон были в бархатных, выцветших от времени ризах, шитых тусклым жемчугом, канителью и фольгой. Вдоль стен тянулись приступочки, на которых можно было сидеть во время кафизм и проповедей. Своды и стены приделов и трапезной были

расписаны яркими, праздничными красками. Особенно хорош был центральный плафон, изображавший двадцать четыре старца, слагающих венцы перед Сидящим на престоле, и грандиозная картина на западной стороне — Христос, изгоняющий торговцев из храма. Живыми были менялы, ползающие за рассыпанными монетами, и фарисеи, замышляющие недоброе...

Много дивного было в храме: икона Покрова, Николы Чудотворца, изящные паникадила, парчевые или вышитые старинные облачения, драгоценная утварь. Не одно поколение приносило в храм любовь и усердие... Но камни, золото, дерево, краски, как бы искусно ни сочетались они или были овеяны древностью, и прославлены — не главное в храме. Не ради них идут в него люди, несут горести и радости свои. Душа храма — молитва.

2.

Толмачевский приход испокон веку не был многолюдным. К нему было приписано считанное количество особнячков, богатые хозяева которых — мануфактурщики Лосевы, рыбники Калгановы, книжники Ферапонтовы, фабриканты-меценаты Третьяковы умерли или уехали. В особнячках поселилась беднота.

После избрания отца в настоятели дьякон и псаломщик уволились... Хора не было. Дров тоже. И муки, и свечей, и церковного вина, и деревянного масла. Да не осталось и славных когда-то традиций. Они были нарушены предшественником отца, ученым протоиереем о. М. П. Фивейским, который все время отдавал науке, а церковные службы сократил до минимума.

Отец решил служить каждый день. Мама, имевшая музыкальное образование и хорошие слух и голос, стала постоянно читать и петь в храме. Мы с братом помогали в алтаре и забирались по праздникам на колокольню, учась звонить в колокола. В будни звонили снизу за длинную веревку в малый колокол.

Первую зиму храм искрился от инея. Богомольцы почти не приходили. Но всегда оказывалась нужная горсточка муки и на донышке масла, и служба не прекращалась, и мамочка вспоминала вдовицу из Сарепты Сидонской... Постепенно в храм стали заглядывать, приходить, приезжать. Появились помощницы и помощники. Слагалось общество людей, уважавших и любивших друг друга и привязанных к храму и к духовному отцу. Потом их стали называть толмачевцами. Они стали похожи на родню. Все хотели принимать участие в уборке и украшении церкви, в пении и чтении. Аналои с книгами спустились с амвона, стояли около клироса и не были отгорожены.

Пение в Толмачах повелось простое, обиходное, без вычурности. Употребляли «вятские», «владимирские», в торжествен-

ных случаях — «симоновские», «киевские» или «болгарские» напевы. Бортнянский казался светским и допускался редко. Чтение было неспешное, четкое, громкое. Папа довольно часто приходил к певчим, великолепно читал и учил этому других. Устав, по возможности, соблюдался. Жившие по соседству старообрядцы иногда заходили в наш храм.

3.

Не только за обедней, но и за каждой службой произносилась проповедь. Иногда это была импровизация на прочитанный текст, приуроченная к теме дня или высказанным нуждам слушателей. В таких случаях отец, не готовясь заранее, приникал на несколько минут головой к святому престолу — и выходил на амвон. Говорить папа мог и час, и полтора. Речь его лилась ясно и свободно... В другое время было чтение бесед Иоанна Златоустого о нравственной ответственности человека за себя, за других, за полученные им блага: здоровье, имущество и прочее. Или творений пустынных отцов: аввы Дорофея, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина и других, парящих на высочайших вершинах духа или проникающих в темнейшие уголки души. Как отдых предлагались повести из Лавсаика или Луга Духовного — яркие, чуть наивные рассказы о людях, отказавшихся от собственности, удобств, семейных радостей и забот ради желания найти Бога. Они также страдали от неудовлетворенности, голода, холода, несправедливостей, царивших во все времена, но своим примером показывали, что победа духа над низменным доступна каждому. Для них было счастьем отдавать себя другим — братьям отшельникам, заблудшим еретикам, темным язычникам, даже бесстыжим комедиантам, лишь бы помочь им обрести или сохранить Бога.

Читались произведения и более близких нам по времени духовных писателей — святителей Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника.

Перед праздниками и постами шли беседы о предстоящем событии, его значении, для внимательного прочтения раздавались тексты предстоящих служб, а потом разбирались с амвона. Отмечалось главное, а попутно разъяснялись непонятные места славянского текста, подчеркивались его красоты. Вследствие этого церковную службу ожидали с радостью, слушали с пониманием, она становилась знакомой и, вместе с тем, выявлялось ее своеобразие, необычность. Потому что каждая служба в храме — особенная, неповторимая.

4.

Случайному посетителю кажется, что все время в церкви что-то бормочут, тянут «Господи, помилуй!», или поют красиво,

но абсолютно непонятно. Однако, поняв произносимые слова, видишь, как весь год переливаются, играют красотой церковные службы.

Каждый день года посвящен какому-нибудь событию земной жизни Спасителя, Его Матери и их благодеяниям, оказанным во все века разным народам — избавление от войн, междоусобиц, болезней.

Ежедневно вспоминается живший давно или недавно мужчина, женщина, ребенок, достигшие высшей почести — признания святыми. Одни — преодолевая страх мучений и смерти — до последнего вздоха отстаивали свои убеждения. Другие отличались сострадательностью. Третьи, во глубине раскаленных пустынь или в сумраке дремучих лесов, никем не видимые, пламенно молились Богу за грешный мир, а их находили страждущие души, селились около и из неведомых ранее мест текли потоки, духовно обогащавшие мир. Четвертые в трудные эпохи убеждали своим словом и примером долг перед Богом, отчизной и ближними ставить выше собственной участи...

Для всякого события и каждого святого в храме находятся особые слова, и эти же слова обращены к каждому из нас. Они заставляют одуматься, пока еще не поздно, не осуждать, не возноситься, а смиренно просить помощи... «Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся!..» — этот вопль обращен к Богородице.

«Мы исполнены грехами, а твоя молитва как кадило благоуханное! Умоляем, иссуши море злого неверия, затопившее страну нашу, и испроси от Господа спасения душам нашим!»...— это читается преподобному Серафиму.

А пострадавшему за веру и отечество от хана Батыя, князю Михаилу Черниговскому говорится: «Ты, мученик Михаил, оставил царство земное, отказался от любви жены и ласк детей и, взирая на высоту, до конца твердил: будь всегда благословен, Бог отец наших!..»

Когда Церковь отмечает свой Новый год — 1 сентября, она молится: «Тихий леткий круг подай, щедрый Христос, и насыщай меня всегда Твоими Божественными словами...».

Под праздник Преображения Господня мы слышим такие необыкновенные слова: «Встаньте, ленивые, всегда поникшие, души моей помыслы, возвыстесь, присоединитесь к апостолам, чтобы достичь с ними Фаворской горы, увидеть славу Божию и услышать небесный голос...»

Дней в году — 365, и каждый день — неповторимая россыпь драгоценных слов.

Службы каждого дня года заключаются в двенадцать больших томов и называются Минеями месячными. Если древнейшие службы в Минеях имеют полуторатысячелетнюю давность,

то другие составлены в наши дни и будут составляться и дальше, так как святость на земле, слава Богу, не иссякает.

5.

Помимо ежедневных памятей святых, каждый день недели имеет свои особенности, свое посвящение. После торжествующей воскресной службы — «Днесь спасения миру бысть, поем Воскресшего из гроба, и Начальника жизни нашей, разрушил бо смертию смерть, победу даде нам и велию милость!»...— поются покаянные песнопения понедельника и тут же славятся ангельские силы, помогающие нам в борьбе со злом. Во вторник вспоминается величайший из рожденных женами святой — Иоанн Предтеча. В среду — Крест Господень и Матерь Божия. В четверг — апостолы и родной нам Никола-угодник. В пятницу опять поются службы Кресту, Богородице и мученикам. А в субботу — всем святым: мученикам, святителям, преподобным и возносится молитва за всех умерших. А потом вновь воскресное торжество.

В восьмом веке, когда накопилось в разных местах православного мира множество песнопений и возникла пестрота церковных служб, зависевшая от местных традиций и вкусов, философ, поэт, музыкант, великий визирь Дамасского халифа, удалившийся в монастырь, Иоанн Дамаскин собрал эти гимны, распределил по дням недели, очень многие написал сам и положил на музыку — на восемь напевов или гласов. Напевы он выбрал старинные, религиозные, издавна употреблявшиеся в богослужении в разных частях эллинского мира, возможно, со времен дохристианских мистерий. Эти гласы-напевы и присвоенные им песнопения чередуются каждую неделю восемь недель, от первого гласа до восьмого, а потом опять первый и т. д. Недели становятся непохожими одна на другую, и красота службы обретает новые грани.

В понедельник, когда поется 4-й глас, мы слышим: «Хотел бы смыть слезами список моих прегрешений, Господи, и в оставшееся время жизни моей угодить Тебе покаянием, но враг обманом побеждает меня, о Господи, пока я окончательно не погиб, спаси меня!...

А в понедельник 7-го гласа слышим: «Посмотри на свои беззаконные дела, душа моя, и удивись, как тебя Земля носит, как не разверзлась под тобой до сих пор! Как еще не растерзали тебя дикие звери, как солнце не перестало светить тебе! Встань, покайся, возопи ко Господу: согрешил пред Тобою, согрешил, помилуй меня!...»

На эти восемь гласов поются почти все песнопения всех церковных служб. Книга, в которой собраны службы дней недели, называется Октоих. Она умилительна от первой до последней страницы. В ней есть, например, неожиданные слова,

обращенные к суровому проповеднику покаяния, Иоанну Крестителю: «Прекрасная ласточка, чудный соловей, добрый голубь, пустыннолюбивая горлинка, Креститель Господень, возросший в пустыне, душу мою пустую и бесплодную сделай способной приносить плоды добрые...»

В Октоихе находятся гимны Божией Матери, в начале которых написано: «Канон, поемый при всякой скорби душевной». Он начинается так: «Многими одержим напастьми, к Тебе прибегаю спасения иский, о Мати Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси!». Только сама Матерь Божия знает, какое неисчислимое множество людей за столетия получило облегчение, произнося или слыша слова этого высокого произведения.

Современный человек немеет перед лицом смерти. Он что-то лепечет несуразное, стоя над гробом, о каких-то наградах и достижениях, как будто это важно для покойника. А Церковь знает слова нежные и грозные, утешительные и полезные, которые смягчают боль родных, оберегают от отчаяния и подают надежду: «Как житейская сладость пребывает печали не причастна? Кая ли слава стоит на земле непреложна? Вся сени (тени) немощнейша, и вся сна прелестнейша (обманнее): в един час вся сия смерть приемлет. Но в свете, Христе, лица Твоего, и в наслаждении Твоея красоты, их же избра, упокой, яко человеколюбец!...».

Из неисчерпаемой сокровищницы Октоиха во все времена черпали и черпают авторы служб, входящих в Минею. И рядовые песнопения Октоиха иногда становятся торжественными гимнами праздника.

6.

Вершиной религиозной поэзии является цикл служб перед Пасхой, на Пасхе и после нее, до дня Всех Святых, через неделю после Троицы, т. е. на время, равное примерно четырем месяцам. В эти недели наряду с Минеями употребляется Триодь — до Пасхи Постная, а после нее — Цветная. А Октоих почти отставляется. Начинается Постная Триодь Неделей о мытаре и фарисее: «Не помолимся фарисейски, братие, всяк бо вознесяй смирится, смирим себе пред Богом...». Потом Неделя О блудном сыне: «Объятия Отча отверзти ми потщися, блудно бо мое иждих житие...». Неделя О Страшном суде: «Егда поставятся престоли и разверзятся книги, о каких страх тогда...». Неделя О грехопадении Адама: «Рай, прекраснейшее сокровище, бесконечное веселие, святых жилище, шумом листьев своих умоли Создателя отворить мне врата, которые я сам затворил преступлением...». Это воскресение еще называется «Прощеным», потому что после вечерней службы каждый из находящихся в церкви, начиная со священника, должен просить у всех прощения и сам забыть и простить все обиды...

— «Господи и Владыко живота (жизни) моего, дух праздности, уныния, любоначалия (любви командовать другими) и празднословия не даждь ми (мне)!..»

— «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему!..»

— «Ей (да), Господи Царю, даруй ми зрети (постоянно видеть) моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко (так как) благословен еси во веки веков, аминь (истинно)!..» (св. Ефрем Сирин, IV в.) *

Эти слова, читаемые в воскресный вечер, уже начинают службы следующего дня — «Чистого понедельника» — первого дня Великого поста, времени покаяния, когда нужно ограничивать себя не только в пище, сколько в словах лишних, поступках необязательных и мыслях суетных. Когда нужно сосредоточиться на самом главном.

— «Откуда начну плакати, окаянного моего жития деяний?! Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление!..» — это первая строфа из наиболее грандиозного памятника православной гимнографии Великого канона преподобного Андрея Критского, жившего в VII веке. В каноне около двухсот пятидесяти строф и каждая из них настойчиво стучит в душу, требует открыть ее двери, прогнать грешное безразличие, духовный сон.

— «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши, конец приближается и имаши смутитися! Воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй!..»

Великий канон читается постом дважды: на первой неделе, разделенный на четыре части, от понедельника до четверга (это называется «мифемоны») и на пятой неделе поста, в среду — за один раз. Эта трудная продолжительная служба называется «Стояние».

Покаянным настроением проникнуты все службы сорока дней поста, утренние и вечерние. Неповторимы по красоте «Литургии Преждеосвященных Даров», которые совершаются по средам и пятницам шести недель поста и первые три дня седьмой недели — Страстной. Рассказать о них невозможно!

А потом ликование Вербной субботы.— «Днесь благодать Святаго Духа нас собра и вси вземши Крест Твой глаголем: благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних!..». Но восторг сменяется скорбными днями последней седмицы.

— «Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам да вниду в онь: просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя!»

Каждый день особенный. В один — вспоминается грешница, не пожалевшая драгоценных благовоний, чтобы помазать ими

* На слова этой молитвы А. С. Пушкин написал стихотворение, проникнутое глубоким религиозным чувством: «Отцы пустынники и жены непорочны...» *(Прим. ред.)*

ноги Христа, и тут же — ближайший ученик, продавший Его за жалкие сребренники... В другой — смоковница, осужденная за бесплодие. Потом — Иосиф, проданный братьями в рабство и через это достигший царского величия. Нам преподносится величайший пример смирения, когда Сам Бог умыл ноги ученикам, даже предателю Иуде, и сказал: «И вы поступайте так же. Кто хочет быть выше всех — будь всем рабом!...»

Мы присутствуем при первом Таинстве Евхаристии (пресуществления), когда Христос, подавая хлеб ученикам, говорит, что это — «Тело Мое», а вино — «Кровь Моя, проливаемая во оставление грехов»...— наших грехов! Помните это! У Христа единственного своих грехов не было, Он наши взял на себя!

— «Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!»

Надо самому прийти и понять текст читаемых Евангелий, чтобы почувствовать службу Великой Пятницы — утреню с чтением 12 Евангелий. Перед потрясенной душой происходит прощальная беседа Господа с учениками, и мы не только слышим, но и как бы видим все: вкрадчивый поцелуй Иуды — «радуйся, равви!» — испуг и растерянность усталых и сонных учеников, орущую, разъяренную толпу с кольями, напавшую на беззащитного, несопротивляющегося Человека. Чтение каждого отрывка Евангелия сопровождается, комментируется пением только для этого дня написанных песнопений — антифонов, которые многократно говорят об одном, но разными словами, делают рассказ выпуклым, стереоскопичным. Мы становимся очевидцами того, как схватили Иисуса, как допрашивали его первосвященники, как били и измывались слуги. Как озябшие стражники, а вместе с ними и апостол Петр, грелись во дворе у костра и как самый ревностный из учеников, лишь час назад обещавший умереть вместе с Учителем, тут, на глазах Учителя, трижды отрекается от Него и уходит, рыдая.

Мы наблюдаем, как колеблется между укорами совести и инстинктом вельможный скептик Пилат.— «Что есть истина?» — восклицает он, и умыв руки, отдает предпочтение выгодной неправде.

Мы знаем, что в отчаянии повесился Иуда.

Мы стоим у подножия Креста, слышим издевательские реплики представителей сливок общества и его подонков, которых объединила ненависть. Но мы слышим и кроткие слова Христа: «Отче, прости им, не знают они, что творят!...» и видим, как луч света проник в сердце мучительно агонизирующего разбойника, пойманного с поличным во время грабежа и убийства, и он, забыв о собственных страданиях, потрясен несправедливостью в отношении Невинного и Его величием даже в час

предельных мук, самый первый из людей поверил в Распятого как в Бога, обратился к Нему с просьбой и получил ответ: «Сегодня же будешь со Мной в раю!»

— «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи! И мене древом Крестным просвети и спаси мя!»

Но венец — Великая Суббота. В благоговейном изумлении Церковь поет: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет!... Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным... Предходят же сему лики ангельстии, многоочитии херувими и шестокрылатии серафими лица закрывающие и вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа!...»

А на следующую ночь после полунощницы вынималась Цветная Триодь и начинался Светлый Праздник — Пасхальная неделя — торжественным трезвоном, крестным ходом с огоньками и пением: «Воскресение Твое Христе Спасе Ангели поют на небеси...» Затем при входе в храм, богато украшенный цветами и иллюминацией, залитый светом, и с уже распахнутыми на целую неделю Царскими вратами, всепобеждающее многократное: «Христос Воскресе!...» и всегда горячий отклик: «Воистину!..»

На Пасхальной заутрене часто повторяется тропарь: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» Затем поется, а не читается, как обычно, удивительный канон, приводивший наши детские сердца в подлинный восторг: «Воскресения день, просветимся людие, Пасха Господня, Пасха!.. Праздников Праздник и Торжество из Торжеств... Радостию друг друга обымем, о Пасха!» и другие строфы канона, такие же торжествующие. При этом после каждой песни священнослужители меняют облачения одно другого краше. Заутреня завершается ликующим словом Иоанна Златоуста: «Аще кто боголюбив и благочестив да насладится сего Святого Торжества», которое в эту ночь произносится во всех церквах православного мира вот уже более тысячи пятисот лет. Это слово отец произносил с особым подъемом звенящим голосом.

На следующей затем Литургии Евангелие читается на нескольких языках. Отец всегда читал на греческом. Пасхальная служба завершается чтением Праздничного послания Патриарха.

Раньше всю Пасхальную Неделю в колокола трезвонили и днем между службами. На колокольни поднимались все любители и знатоки этого искусства.

Древнейшие песнопения Триоди восходят к четвертому и пятому векам. Окончательный вид она приняла в четырнадцатом веке и с тех пор неизменна.

7.

Говорил отец и о том, что поэтические строфы Минеи, Октоиха или Триоди — это драгоценные камни, вставляемые в не менее драгоценную оправу неизменного строя повседневных служб. Повседневные службы изложены в книге, именуемой «Часослов». Когда-то обучение русского человека начиналось с чтения Псалтири и Часослова — настолько эти книги признавались важными для воспитания. Первыми прочитанными словами были: «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых...» Часослов и в церкви самая необходимая книга: он при нужде может заменить остальные. Службы Часослова начинаются с вечерни, затем идет повечерие, полунощница, утреня, часы. Эти службы могут справляться как в церкви, так и дома, даже в лесу и в тюремной камере архиереем, священником, монахом, мирянином (мужчиной, женщиной — кем угодно), наедине с Богом или группой людей. В Часослове нет одной лишь службы, притом важнейшей — обедни или литургии. На ее совершение имеет право лишь духовное лицо, а простые люди, не имеющие благодати священства, совершать ее не могут. Часослов — древнейшая из богослужебных книг. В него входят ветхозаветные песни и псалмы, а также молитвы, содержащиеся в Евангелии: «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», «Ныне отпущаеши», «Слава в вышних Богу», «Величит душа моя Господа», созданные христианами первых веков.

Вечерня — первое богослужение праздника (все дни — праздники в церкви) — начинается псалмом царя Давида, жившего три тысячи лет тому назад, говорящем о гармонии мира и о нашей благодарности Творцу: «Вся премудростию сотворил еси!... Слава Ти, Господи, Сотворившему вся!... Вся вечерня пронизана светом Бога, отражение которого мы видим в природе и ощущаем в людях: «Свете тихий, Святыя славы... пришедше на Запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога!...» и кончается словами мирного расставания с жизнью земной в надежде на Жизнь Вечную: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видеста очи мои спасение Твое...»

Начало утрени переносит в мир человека падшего, угнетенного грехом. «Шестопсалмие» — шесть псалмов, которые читаются в середине храма почти в полной темноте, их полагается слушать стоя, опустив глаза вниз, не шевелясь, не рассеиваясь мыслями, чувствуя, что держишь ответ перед Самим Богом. В псалмах говорится о невыразимых страданиях грешников, о том, что наши пороки отделяют нас от Бога,— не только от Него, но и от самых близких людей, обрекают на одиночество. Но горечь сменяется раскаянием и надеждой и словами благодарности Богу, не до конца прогневавшемуся, милосердному... В центре утрени, после чтения Евангелия, что бывает

не всегда, читается канон — главный гимн дня. На Пасхе он даже поется ликующим напевом. Греки писали каноны стихотворным размером, чаще ямбом, славяне переводили прозой, но красота его от этого не умалилась. После канона, после слов священника: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» поется Великое славословие. Это — древнейший гимн, драгоценное наследие первых гонимых христиан, которые на молитву собирались ночью в пещеры, катакомбы, укромные места и встречали рассвет этими словами. Что бы их ни ожидало днем — труд, издевательства, мучение, смерть — они пели: «Слава в вышних Богу! Хвалим Тебя, кланяемся Тебе, благословим Тебя, благодарим Тебя, великой ради славы Твоей!...»

Весь христианский мир поет эти слова. По-латыни гимн называется «Глория». На слова его писали музыку величайшие композиторы мира.

8.

Литургия — обедня — главнейшее богослужение дня. Потому что во время Литургии происходит в нашем присутствии величайшее чудо: Бог снова и снова нисходит на землю и под видом хлеба и вина предлагает нам Тело и Кровь Свои как залог нашего участия в Жизни Вечной. Об этом совершенно ясно говорит Евангелие. Причащаясь, мы не только духовно, но и физически соединяемся с Богом. И если мы называемся христианами, то не имеем права под самыми благовидными предлогами, хотя бы своего недостоинства, отказываться от причащения. Потому что, сколь будем жить — столь грешить и думать, что сможем стать безгрешными на грешной земле — заблуждение и гордыня...

Смысл и красота церковных служб постигается постепенно, в течение года, и даже не одного, так как каждый год — свое сочетание чисел, дней недели и времени от Пасхи, следовательно, свое сочетание Часослова, Минеи, Октоиха или Триоди, свои неповторимые оттенки. Однако торжественнейшее богослужение и умилительнейшее пение, если приходить лишь ради наслаждения поглядеть и послушать — малополезное занятие, вроде эстетического любования иконами в музее. Но если в храме в какой-то миг почувствуешь, что недостоин находиться в нем, вспомнишь свой недавний или давний и забытый поступок, огорчивший или оскорбивший другого человека, и этот поступок покажется в светлой обстановке церкви таким черным и скверным, что стыд охватит до содрогания и ты поймешь, насколько ты хуже всех в храме и отчаяние подберется к сердцу. Но в этот момент явится мысль, что тобой, гнусным, не погнушался Бог. Что Он допустил тебя в Свои чертоги. Что и на тебя распространяется милость Божия, хоть и не стоишь ты ее. Душа согреется от благодарности... Может быть,

ты перестанешь слышать, видеть, понимать, что происходит, но ощутишь, что Бог знает, видит все, творящееся в тебе, понимает тебя лучше, чем ты сам, и жалеет... Тогда уйдешь из церкви просветленный, хотя и с большим сознанием своих пороков, чем было, когда ты входил в храм...

А живопись, архитектура, торжественное освещение, дым кадильный, даже красивое пение и чтение — это служебное, это возводящее, это лестница снизу вверх. Но для этого в храме должна быть атмосфера покоя, должен царить мир.

...Когда в Толмачах заканчивалась вечерняя служба, гасли свечи и лампады, и храм заполнялся чуткой темнотой, и его освещала лишь лампочка у выхода и лампада у иконы Богоматери, все оставшиеся богомольцы, стоя или опустившись на колени, глядели на сердобольный лик, озаренный теплым светом, и вполголоса пели: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево! Молений наших не презри в скорби, но от бед избави нас, Едина Чистая и Благословенная!» И в эти слова вмешалось все, что накопилось в сердце каждого... Молитву эту привезли в Москву в годы германской войны беженцы, и она сразу стала родной.

Значительное место в богослужении отводится колокольному звону. Звуки одного колокола — «благовест» — большого в праздники и меньшего в будни перед началом церковной службы приглашали в церковь верующих, отмечали важные моменты богослужения. Торжественный и радостный перезвон многих колоколов — «трезвон» — отмечал начало торжественного архиерейского служения, конец праздничных служб, торжественные крестные ходы кругом храма. На пасхальной неделе можно было трезвонить всю неделю, колокольни были открыты для всех любителей. Незабываемое потрясающее впечатление производил мощный одновременный благовест московских колоколов перед пасхальной заутреней. Раньше начинал этот звон ровно в 12 часов ночи самый большой колокол Ивана Великого. Затем вступали все главные басовые колокола многочисленных тогда действующих московских церквей. Душа замирала, сердце наполнялось восторгом, на глазах выступали слезы.

То, что говорил отец о богослужении и обстановке в храме, по возможности осуществлялось в Толмачах. Был между прихожанами дух дружелюбия и задушевности. Этим Толмачи и привлекали. А в соседних приходах, вкладывая разные оттенки, говорили: «Толмачевская Академия!»...

Прямо против дверей храма, через узкий переулочек, были настежь раскрыты двери «клуба им. Карла Маркса». На тротуаре у дверей стоял шум и гам: толпились взрослые и подростки в ожидании очередного сеанса с Дугласом Фербенксом или Мэри Пикфорд.

Под церковные праздники в клубе устраивались меропри-

ния, навстречу крестному ходу двигалось шествие с богохульными транспарантами, участники которого с азартом горланили: «Сергей поп, Сергей поп, Сергей дьякон и дьячок, пономарь Сергеевич и звонарь Сергеевич!» Или заунывно тянули: «Утомительно, утомительно, утомительно-о-о!...» В адрес молящихся неслись насмешки, ругань, а в отца иногда бросали камни...

И тут же, за углом, за тополями, стоял наш дом...

Глава II. ДОМ

«Не заботьтесь, что вам есть, и что пить, и во что одеться...»
(Мф. 6, 25)

1.

Когда мы въехали, то расположились почти во всех комнатах большой двухэтажной церковной квартиры. В двух — наверху — еще оставались пожилые дочери покойного священника, хранившие и его библиотеку с богословскими книгами на английском языке, одну комнату снимал какой-то англичанин, а в другой жил бывший поручик, на тужурке которого еще был виден след погон, а сами погоны со звездочками валялись среди хлама в углу, пока он не подарил их нам. Но осенью, когда стало холодно, а топить было нечем, все, кроме нас, из дома выбрались, и мы, дети, могли играть во всех девяти комнатах обоих этажей. Но к зиме все очутились на кухне, где топилась плита, а потом в одной из нижних комнат, которую обогревала не столько жестяная печка, сколько дыхание.

Следующую зиму и лето провели так же, только с нами ютился дедушка — папин отец, пока не уехал в Севастополь ко второму сыну — моряку. Потом стали появляться жильцы. Первой, по ордеру, въехала симпатичнейшая Анна Степановна, служительница Третьяковской галереи, ставшая нашим другом, а затем — другие, считавшие, что с нами «все позволено».

По декрету о всеобщей трудовой повинности отец и мать должны были устраиваться на работу. Служба в церкви работой не считалась, и папа, хорошо рисовавший и любивший живопись, по рекомендации знакомых художников устроился научным сотрудником в Третьяковскую галерею, которая находилась совсем рядом. Маме же пришлось бегать на Арбат, где она трудилась делопроизводителем во Всеобуче. Папа и мама уходили рано в храм, потом — в должность, возвращались поздно, уже из церкви. Старшим в доме оставался Сережа. Ему было уже девять лет, мне восемь, Андрюше пять и Ванечке

полтора года. Добрую нашу няню Полю вытребовал к себе сын няньчить внука, и мы на весь день оставались одни.

Когда уходили старшие, из углов с писком выбегали крысы, и, не обращая внимания на нас, начинали свои игры в середине комнаты. Мы их сначала боялись, потом привыкли, сидели весь день на диване, поджавши ноги. Крысы к нам не залезали, разве что ночью, укладываясь по-кошачьи в ногах. Но от этого делалось теплее. Сережа топил печку, когда было чем топить, и готовил пищу, когда было из чего готовить. Я был нянькой: вытирал носы, менял мокрое, сажал на горшок, рассказывал сказки, а в теплую погоду гулял с малышами. Каждый день, заперев ребят, мы с Сережей ходили в столовую АРА* на Ордынке у Серпуховской площади, выпивали там кружечку жидкого какао, съедали микроскопическую булочку и боясь расплескать, вдвоем несли бесконечной Ордынкой тяжелую кастрюлю, самую большую, какая у нас была с жидкостью, в которой плавали чечевички. Бурда эта была главным блюдом для всех. К ней прилагалась полученная по карточкам осьмушка колючего овсяного хлеба и скрипящие лепешки из картофельной шелухи угольно-черного цвета. А неизвестно чем заваренный кипяток, в случае удачи, пили с сахарином, печеной свеклой, либо со сладким мороженым картофелем. Но и тогда люди шутили, говоря, что вместо старых способов пить чай внакладку и вприкуску появилось столько новых, интересных: впридумку, вприсказку, вприглядку, когда в утешение всем огрызочек рафинада кладется на середину стола и трогать его нельзя, и вприлизку, когда кусочек на ниточке подвешивается над столом, это уже верх роскоши!

На маленьких где-то выдавали голубое молоко. Через два-три месяца мамочка принесла паек — немного серой муки и пахнущее керосином постное масло. Все, что было можно, было обменено на продукты: совсем еще крепкая папина университетская форма, мамины ожерелья и кольца, бисерная сумочка.

Время от времени родителей приглашали принять участие в разборке деревянного сарая или дома — на это выдавался ордер. Скопом, неумело, его растаскивали по бревнышку, делили, полученную драгоценность волочили к себе и пилили на чурочки, а потом кололи на лучинки.

Мои подопечные Андрюша и Ванечка доставляли мне мало хлопот, много спали и были тихие и вялые, как и мы с Сережей. Мы ни во что не играли, рано поняли прелесть воспоминаний и грез, без конца перебирая события жизни в Сокольниках или поездок в Пруссово, или фантазировали на тему «когда мы опять поедем в Пруссово», не зная, что ни дома, ни сада, ни даже леса уже не было. К счастью, мы много

* АРА — организация американской помощи голодающим в голодные 1920—1921 гг. (*Прим. ред.*)

читали, от сказок перейдя почти ко взрослой литературе. Увлекались историей. Попался нам гимназический учебник Иловайского, без картинок. Мы его прочитали трижды и почти вызубрили наизусть, потом папа принес «Откуда пошла Русская земля» Нечволодова со множеством картинок, родословных таблиц и выдержками из летописей, житий и Карамзина. Мы бредили Олегами, Всеволодами, половцами и монголами, и без конца спорили с Сережей, кто был главнее и кто после кого, и захлебываясь, сообщали свои сведения маме и папе.

Но вот пшенная каша перестала казаться пределом мечтаний, дома стало теплее, нам сшили костюмчики из бордовых занавесок, из чего-то смастерили сапожки, предмет особой гордости, и послали в школу. Как будто стало возвращаться детство...

2.

Как-то, проснувшись, мы увидели плачущую маму. Оказывается, проспали, когда забрали папу... А маму встретили какие-то женщины на улице и спросили: «Вашего батюшку тоже взяли?» — «Да».— «Слава Богу, а то мы уже думали...» Месяца через три, просидев в Бутырках в одной камере со смертниками, папа вернулся. Это было летом 1923 года, после смерти Вани и рождения Коли.

Весь год был трудным. Был арестован Патриарх. Прошли кровавые процессы над духовенством. Возник раскол живоцерковников. Многие священники снимали сан. Не стало Зосимовой пустыни. Разорили Троице-Сергиеву Лавру. Закрыли ряд церквей. Многие близкие переселились на Соловки, в Зырянский и Нарымский край. Обиходными стали слова: уплотнение, сокращение, выселение, арест, ссылка, расстрел...

В начале 1924 года папе предложили оставить храм или уйти из Галереи. Папа пришел расстроенный, а мама перекрестилась и сказала: «Слава Богу, Илюша! Наконец ты не будешь раздваиваться, а станешь настоящим батюшкой!..» В любимую нашу Третьяковку мы продолжали бегать запросто, как при папе, но отца записали в «лишенцы» как служителя культа, еще раз уплотнили, оставив нам две комнаты на семь человек, обложили громадным налогом: за жилплощадь, электричество, воду стали брать во многократном размере. Как «нетрудовой» элемент, меня с трудом зачислили во вторую ступень школы, в пятую группу, утверждая, что таким, как я, школы первой ступени вполне достаточно. В восьмую группу я попал чудом, а после девятой понял, что мое образование на этом закончено. Лишаясь одного, мы приобретали другое. Становилось все больше самоотверженных, любящих, верных друзей, прихожан-толмачевцев, старавшихся облегчить нашу жизнь. И, вопреки всему, росла уникальнейшая папина библиотека, заменившая мне все школы, университеты и академии.

Глава III. БИБЛИОТЕКА

1.

Когда вспоминаешь тогдашнюю нашу квартиру, прежде всего видишь книги. На стенах до потолка. В набитых до отказа шкафах. Стопками на полу. Садясь обедать, снимали со стола книги. Предлагая гостю стул, освобождали место от книг. Книги хранились у знакомых. Книги были уложены на полатях в церковном сарае. Все внимательно просмотренные и аккуратно записанные папой в инвентарные описи. На каждой книге значилось: «Из книг свящ. (потом прот.) И. Н. Четверухина» и номер. Книги записывались подряд, не по содержанию и не по авторам. Последний, записанный папой экземпляр, имел больше, чем десятитысячный номер, а папа еще не успел переписать все книги.

После храма, семьи и духовных детей отец больше всего любил из земного книги. До страсти. Но не был жадным до книг. Не был скупым на книги. Он помнил слова своего любимого Иоанна Златоуста, что мы не можем быть хозяевами имущества, а лишь уполномоченными от Господа на владение им с целью приносить пользу ближним. Для папы было большей радостью, чем приобретать, раздавать книги для чтения или дарить их. Папа не любил лишние экземпляры и не переоценивал значение года издания, оформления, редкости, даже сохранности. Ему было важно прежде всего содержание...

2.

Любовь к книгам у отца была с детства. Отец его — Николай Михайлович — известный в Москве учитель русского языка закончил только Учительскую семинарию, но ему удалось до женитьбы побывать в Германии и Франции, и он всю жизнь занимался самообразованием. Книги стали его высшей школой.

Мать отца — Мария Николаевна (урожденная Юрьева) получила хорошее воспитание: знала иностранные языки, рисовала, играла на рояле. Она также много читала, причем произведения иностранных писателей любила читать в подлиннике.

В семье была большая библиотека, только в имении деда Курилове было около 2000 книг, в Москве немного меньше. Основную часть библиотеки составляла художественная литература, кроме того в ней было много книг по истории, искусству и книг религиозно-нравственного содержания.

Каждую купленную книгу дед внимательно прочитывал, отмечал особенно понравившиеся места, а некоторые для памяти записывал в толстую тетрадь.

Все члены семьи собирались за столом в свободные дни, чаще летом, и читали по очереди вслух «Войну и мир», «Фре-

тат «Паллада», Тургенева, Писемского, Аксакова, стихи и прозу А. К. Толстого и других русских и иностранных авторов. Все учились читать грамотно и выразительно. Отец хорошо декламировал, даже выступал на гимназических вечерах. Он прекрасно читал, например, балладу А. К. Толстого «Князь Михайло Репнин». Умение читать вслух и хорошая дикция впоследствии очень помогли ему доводить до молящихся каждое слово молитв и чтений, произносимых им во время богослужения.

3.

Вернусь в Толмачи. Пока еще были живы преподаватели закрытой в 1917 году Духовной Академии, они, по возможности, продолжали делиться своими знаниями.

В Москве не было Богословского института, как в Петрограде, но желающие ходили к профессорам на дом, получали необходимые указания и список литературы, а потом, тоже на дому, сдавали предмет. Многим тогда пригодились папины книги. Я помню нескольких молодых людей, приходивших к папе с этой целью. Один из них был настоящий оборванец, поражал необыкновенным аппетитом и сочными рассказами о ночлежке. Своего угла у него не было, а спать он отправлялся в «Ермаковку» — громадный копеечный ночлежный дом у Каланчевской площади. День же он проводил в читальных залах и у добрых людей. Папа давал этому студенту книги с опаской, но все же безотказно. Что из него получилось, не знаю. Второй был замкнутый, настороженный, какой-то странный молодой человек. Брал книг много, возвращал аккуратно. Как-то внезапно перестал появляться. Узнали о нем, когда папа вернулся из Бутырок. В камере с папой и был этот самый читатель папиных книг. Он принял сан священника, пройдя курс Академии, перешел в католичество, стал патером. В камере он держался отчужденно. Когда архиереи и священники, собравшись в один угол камеры, по памяти вполголоса справляли всенощную, а в другом углу шпана пела «Вниз по матушке по Волге», то он одиноко сидел на краю своей койки, не обращая внимания ни на кого и не общаясь ни с растратчиками, ни с эсерами, ни с бывшими белыми офицерами. Папе было его жалко.

4.

По завету духовного отца — старца Алексия из Зосимовой пустыни отец был верным сыном Патриаршей Церкви и всегда считал, что выше всего единство, что нетерпимо только уклонение от догматов, а остальное — на совести сказавшего или сделавшего. Я никогда не слышал от отца слова осуждения в адрес католиков, лютеран, наших старообрядцев. Папа с ува-

жением относился к иудаизму и исламу. В нашем переулке была маленькая синагога и в окна были видны молящиеся старые люди в непривычных одеяниях. Папа, встречаясь, всегда раскланивался с почтенными седобородыми людьми в длинных до пят пальто, выходящими из этого молитвенного дома. Не помню, что он говорил о штундистах. Среди отколовшихся от митрополита Сергия у папы было много самых близких друзей, но папа не пошел с ними, хотя и принял это решение нелегко. Безусловно отрицая «обновленцев» и «живоцерковников», папа предостерегал меня от огульного осуждения, говоря что и среди них есть искренние, но запутавшиеся люди. В адрес толстовства я слышал от него много резких слов. Атеизм отец считал дьявольской хитростью и человеческой тупостью. Он повторял, что еще три тысячи лет назад записаны слова: «Рече безумен (т. е. глупец) в сердце своем — несть Бог!..»

В первую очередь пользовались папиными книгами его духовные дети, прихожане Толмачевского храма. Щедро давая книги, отец никогда не записывал, что и кому дал.

5.

На первом месте по количеству в папиной библиотеке стояла богословская литература, примерно три четверти собрания. Тут были творения Отцов Церкви, аскетические писания пустынников, труды по истории Церкви, начиная с Евсевия. Особое место в папиной библиотеке занимали труды Аввы Исаака Сирина. Кроме того на полках стояли книги по истории изучения Библии, по Богословию, сборники проповедей. Было все, что вышло из-под пера митрополита Московского Филарета, которого папа очень почитал, и епископа Феофана Затворника, даже его рукописи... Было много и биографической литературы: Жития Святых, рассказы и воспоминания о старцах, о проповедниках наших дней — Поселянина и Нилуса. Были труды папиного друга о. Павла Флоренского и отдаленного родственника Лодыженского, полученные от авторов. Всего не перечислишь. Мне казалось, что у папы есть все и я искренне удивлялся, встречая книгу, которую не видел у папы. У меня была отличная зрительная память!

Конечно, у папы был полный комплект богослужебных книг. Это было дорогое издание, и до революции папа не мог решиться приобрести его в синодальной лавке на Никольской на свое жалование священника при богадельне. Но кто-то настоятельно посоветовал папе не мешкать, и в конце лета 1917 года он привез на извозчике большую кипу книг большого формата в коленкоровых желтых переплетах с кожаными корешками. В кожаных переплетах из-за войны уже не выпускали... Эти книги впоследствии, кочуя из дома в храм, из храма в дом, совершали свое дело в течение полусотни лет, помогая

после гибели отца мамочке в святом деле отправления церковных служб.

6.

Остальная часть библиотеки отца состояла из книг по истории, искусству, философии, психиатрии, астрономии, биологии, географии, художественной литературы. Было много путешествий, учебников, университетских курсов, юношеских и детских книг. Помню «Жизнь животных» Брэма, «Всеобщую историю» О. Йегера, доставшуюся ему от отца, и многотомную «Живописную Россию». Бережно сохранялись книги, которые читала ему в детстве мать, наша бабушка.

Из классиков были Пушкин, Лермонтов, Аксаков, Жуковский, Державин, Богданович, Батюшков, Гоголь, Хомяков, Плещеев, Тютчев, Апухтин, Козьма Прутков, Надсон, К. Р., Гомер, разные хрестоматии и антологии. Когда мы учились в старших классах, с нашей помощью были приобретены Шекспир, Шиллер, Сервантес, Мольер, Тургенев и Гончаров. Но это уже скорее относилось к моей библиотеке.

Не было на папиных полках Льва Толстого, Леонида Андреева, Федора Сологуба, Горького, Бунина, Куприна и, почему-то, Чехова, хотя папа хорошо знал этих писателей. Отец тщательно следил за нашим чтением, за книгами, что мы брали у сверстников и приносили из школы. Он с отвращением запретил нам когда-нибудь читать Ната Пинкертона и прочую бульварщину. «Порча вкуса!» — сказал он. Зато разрешил Шерлока Холмса. Невысоко ставил Дюма, Хоггарда, Жаколио, хвалил Жюль Верна, Майн-Рида, Густава Эмара. Покупал нам Фенимора Купера и капитана Мариэтта. Отдавал предпочтение Загоскину перед Лажечниковым, графу Салиасу перед Всеволодом Соловьевым, лестно отзывался о романах Вальтера Скотта и очень любил Диккенса.

Когда я закончил школу, то купил «Дон Жуана» Байрона и показал папе, как делал со всеми книжными покупками. Папа спросил: «Сколько?» — «Полтинник». Папа молча вынул из кармана пятьдесят копеек, отдал их мне, а книгу разорвал и швырнул в топившуюся печь. «Рано!»

В собрании папы были узорчатые старообрядческие рукописи, книги на греческом языке, фолианты с гравюрами, лубочные издания, журналы, альбомы литографий, дешевые издания для народа.

7.

Удивительная судьба была у книг в те годы! Их выбрасывали, уничтожали, ими топили котельные или обогревали жилье. Их боялись, ими тяготились, их при переезде бросали

на произвол судьбы. Их изымали из казенных библиотек, а за некоторые и расстреливали. Люди с окраин, вселяясь в богатые реквизированные квартиры, получали вдобавок к жилью мебель, картины и библиотеки, о ценности которых они даже не подозревали. Папе то и дело сообщали, что там-то валяются книги из гимназии, епархиального училища, подворья, приюта. Зимой папа брал саночки, и привозил сколько мог, а летом приносил, сгибаясь под их тяжестью.

Книги можно было достать в лавке, куда их привозили для заворачивания селедки, и в котельной. Когда подобные, обычные в то время, источники стали иссякать, пустили за бесценок запасы складов Сытина, Сойкина, А. Ф. Маркса, Пантелеева, Вольфа. Книги продавались в газетных киосках, на бульварах, на Сухаревке, на Смоленском, на Зацепе, а особенно у Ильинских ворот.

8.

Вдоль Китайгородской стены, против Политехнического музея, до самой Никольской тянулись ларьки, щиты на козлах, листы фанеры на земле, на них лежали книги переплетенные и несшитые, потрепанные и неразрезанные. На этих развалах часто виднелись надписи: «Все книги по 15 коп.», или по 20, 30, 40, 50 копеек, а то и по целому рублю. Можно было найти практически все... Около книг с утра и до темна толпился народ: мальчишки, старики, студенты, ротозеи, знатоки, жулики, помешанные. При виде моря книг, расплескавшегося у белых древних стен, брала оторопь, как же выбрать одну-единственную, что интереснее всех, да и по карману, для которой крепко зажаты в кулаке гривенники и пятиалтынные!

Папа никогда не возвращался с Ильинского развала с пустыми руками, выкапывая необыкновенные вещи. Однажды он приволок две огромные связки — «Труды Пекинской Духовной Миссии», за много лет, с переводами китайских летописей, сделанными архимандритом Иакинфом Бичуриным.

Одно время повадился к Ильинским воротам старший брат, а за ним и я. И пропал... У меня развилась страсть, оттеснившая все прочее. Я не ходил в кино (но дотошно расспрашивал Сережу о виденных им картинах), не покупал сладостей, хотя был сластеной, а на каждом углу кричали: «А вот сливочный ирис!» Я был безразличен к одежде. Я просил папу и маму не дарить мне на Рождество, Пасху, именины и день рождения ничего, кроме денег на книги — получал от них в эти дни по рублю. Целому рублю! Иногда выклянчивал этот рубль авансом, если манило что-то умопомрачительное, вроде недостающего тома Диккенса.

Я подрабатывал, насаживая бельевые крючки и кнопочки на картонки, пытался рисовать лукавые головки на пуговицы

к дамским подвязкам, давал уроки тупоумным ученицам, а чаще всего зарабатывал, сбрасывая снег с крыши своего дома и с церковной или очищая тротуары от сугробов. Заработаешь полтинник и, чувствуя себя Крезом, бежишь, гордо посматривая по сторонам, к Ильинским. Переберешь каждую книжку, получишь колоссальное удовольствие, выберешь, измучившись вконец и, полный радости, идей и сомнений, возвращаешься, не торопясь, кривыми улочками и лестницами Зарядья, крепко держа покупку, останавливаясь в пути и перелистывая ее.

9.

У папы были знакомые: знаменитый Шибанов и безвестные офени, которые с набитым мешком ходили по домам, продавая и покупая. В мешке можно было найти все, что угодно: святых отцов, Библию Пискатора с 400-ми гравюрами, «Давида Коперфильда» в красном с золотом переплете «Золотой библиотечки». Офене можно было заказать почти любую книгу и, рано или поздно, он приносил ее.

Удавалось проникнуть и в подвалы «Международной книги» на Кузнецком. Там было то, что не для нас, и можно было видеть книги, отложенные для Демьяна Бедного. Дядя Егор, моряк из Севастополя, младший брат отца и такой же книжник, был схож с Демьяном фигурой, усиками и, пожалуй, даже чертами лица. И ему по ошибке подсовывали книги, облюбованные тем. Книги заманчивые, но дядя Егор обижался...

У афонских монахов после закрытия подворья еще сохранились какие-то остатки складов, и у них можно было тоже приобретать книги, которые папа раздавал прихожанам.

10.

Забегу вперед. Через полгода после ареста отца истек срок найма квартиры у застройщика на Воробьевском шоссе. Квартира была дорогая, а у мамы не было денег снова нанять ее, платить надо было за год вперед. Поэтому мама освободила ее и вернулась в Толмачи, в комнату, где жили братья: работавшие уже Сережа и Андрюша. Вернулась с Колечкой и Машенькой. Хозяин дома любезно разрешил временно оставить книги в его сарае. Бедная мамочка мучилась, не зная, куда девать и что делать с книгами до возвращения папы. Помогли добрые люди. Они сообщили куда следует, что у них во дворе хранится антисоветская (тогда — контрреволюционная) литература, принадлежавшая арестованному попу. Приехал грузовик с милиционерами, сарай был вскрыт, книги погружены — и вся недолга. Уже спустя полстолетия случайно стало известно, что часть конфискованной библиотеки находится в Москве в Библиотеке Ленина, часть — в бывшем Казанском соборе, так на-

зываемом музее истории религии и атеизма в Ленинграде, где папины книги, ставшие никому не нужными, кроме особо доверенных «специалистов по атеизму» — за семью печатями спецхрана мирно ждут своей дальнейшей участи. То же, что не было конфисковано, отчасти разошлось по рукам, частью пропало в разное время, и лишь небольшая толика сохраняется потомками.

Когда мама узнала о гибели библиотеки, то испытала двойное чувство. Больше всего беспокоила мысль, что весть об этом причинит папе лишнюю боль. Папа в это время находился на очень тяжелых работах (ныне г. Красновишерск Пермской области, где и погиб) и получил известие о потере книг одновременно с известием о смерти Машеньки, своей единственной дочери. В это время на свидание к отцу приехал Сережа. Папа поручил ему передать маме: «Боюсь, что ты очень огорчилась из-за меня. Успокойся. Я уже не тот. Мне теперь кажется, что любовь к книгам мешала мне должным образом любить вас, мои дорогие. Слава Богу за все! Он дал — Он и взял. Буди имя Его благословенно!..»

11.

А пока обычной картиной было: приходит папа, очень довольный и немного смущенный. В обеих руках — связки книг. Мама, расстроенная говорит: «Илюша, у нас же есть нечего!» «Женечка, ты только посмотри, что я принес! Это же мне очень нужно! Я об этой книге еще в Академии мечтал! Ей же цены нет!..»

Глава IV. ГОСТИ

«Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам...» (Евр. 13, 2)

С едой у нас действительно было туго. Семь, а потом, когда родилась Машенька, и восемь ртов. С 1921 года у нас жила Клавдия, круглая сирота, дочь умерших знакомых, лет на 6—7 старше Сережи. Она очень выручала, помогая по хозяйству. Черный хлеб мы брали кислый, а не заварной: дешевле! Белый хлеб бывал редко. Чай пили морковный, кофе желудевый, сахар кололи мелкими кусочками и выдавали нам экономно. В постные дни варились пустые щи, каша, картошка. Мама любила готовить овощные солянки, форшмаки, например с селедкой. К ужину жарились оладьи. В скоромные дни мясо готовили не часто, просто заправляли пищу русским маслом

да покупали студень со щетиной в частном ларьке на углу или паштет из сбоя в магазине. Постоянно бывала рыба: судак, карп. Зимой брали у разносчиков звонкую от мороза навагу. Щи варили со снетками. На Пасхе были кулич, пасха, крашеные яйца. На Рождество — гусь, окорок. По большим праздникам — курица. На масленице — блины с икрой, иногда лещевой. Постом — тюря из кваса с огурцами и черным хлебом. Лакомила мама пирогами. Особенно мастерица была печь пироги с масляной жареной гречневой кашей и очень тонкими хрустящими стенками. Вина, водки, конфет и пирожных мы не покупали.

При всем том за обед или ужин, помимо нас, редко не садились еще три-четыре человека. В праздничные дни больше. А на разговенье и в дни папиных именин летом и в день его рождения, 14 января, приходили многие, самые близкие.

2.

Праздником было появление друзей отца по Академии — епископа Серафима (Звездинского), епископа Игнатия (Садковского) и епископа Варлаама. Их приезды в Москву были редкими и краткими. Если они служили в Толмачах, то без пышности, монашески строго. А потом надолго или навсегда исчезали в очередной ссылке. Сейчас я уже смутно различаю в памяти их лица. Они слились в один образ. Вижу высокие аскетические фигуры, бледные лица, слышу тихий голос и спокойную речь. От них, мне казалось, исходил свет. Проводив владыку до трамвая, я возвращался домой осторожно, боясь растерять чувство, которым была наполнена душа.

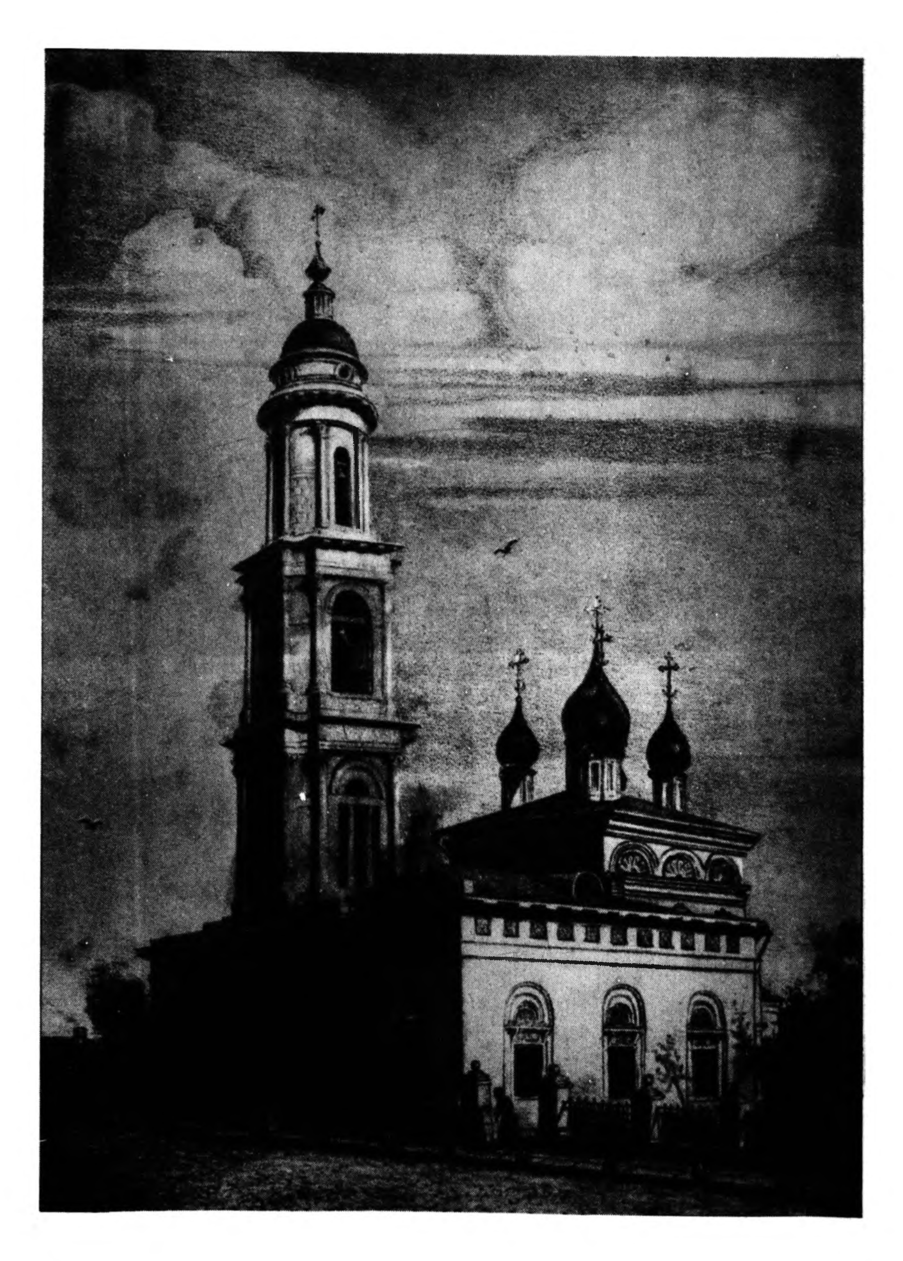
3.

А следы ног митрополита Кирилла (Смирнова) * хотелось целовать!.. Он приблизил к себе папу еще до Толмачей, когда летом 1917 года стал служить в московских церквах торжественные воскресные вечерни со всенародным пением и проповедями. Кроме богослужебных песнопений, после вечерни, весь народ пел отрывки из посланий апостола Павла. Помню, в храме Воскресения в Сокольниках, тогда только что построенном, пели: «Никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя, но живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем, всегда Господни!» Когда все множество людей, наполнявшее храм, с воодушевлением произносило эти слова, казалось, что они клялись так и построить свою жизнь,

* Видный деятель Русской Православной Церкви, митрополит Казанский, член Поместного Собора 1917 г. Арестован в 1923 г. и расстрелян 20 ноября 1937 г. в Чимкенте. В США вышла книга об этом воистину святом человеке. (*Прим. ред.*)

выражая свое отношение к происходящему. А в соборе Страстного монастыря пели: «Если я говорю языком и ангельским, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий... Любовь долго терпит, милосердствует... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет!..» Знакомые слова звучали необыкновенно и проникали в душу... На текст пропетых слов произносилась проповедь молодым священником, в их числе был и наш отец, а потом сам митрополит Кирилл дополнял сказанное, подчеркивая самое нужное. Я помню, с какой горячностью люди воспринимали спокойные, вечные, ясные истины в то взбулгаченное, развороченное, непонятное время!

В лютые зимы с девятнадцатого по двадцатый и с двадцатого по двадцать первый годы отрадой и утешением для нашей семьи был приход митрополита Кирилла. Он приходил ненароком, всегда стучал в черную (кухонную) дверь, озябший и, вероятно, такой же голодный, как мы. Не приносил с собой ни лакомств, ни щепочек, с которыми тоже ходили в гости (!), но в комнате становилось светлее, теплее и радостнее. Владыка не брезговал тем, чем мама могла угостить, и шел с папой в храм. Он лишь раз служил у нас в храме всенощную под какой-то двунадесятый праздник — трудно было в те годы создать достойную обстановку для архиерейской службы! Произносил проповедь. Главное же, Владыка вливал силы и бодрость в наших бедных, измученных физически и нравственно, трудно привыкающих к новому месту, родителей. Им было одиноко в Замоскворечье, в первое время не только мы, дети, но и они часто вспоминали Сокольники — тамошнюю теплую, обжитую квартиру, теплую, уютную домовую церковь богадельни, родные сосны за окнами. Но возвращаться туда не приходилось: богадельню разогнали, церковь сломали вскоре после нашего переезда. Да и если бы все оставалось по-прежнему, отец не расстался бы с Толмачами добровольно. Они были давно его мечтой. Они были освящены для него более чем двадцатипятилетним служением в этом храме в сане дьякона отца Алексия, в то время Ф. А. Соловьева, затворника из Зосимовой пустыни. Он пришел туда совсем юным, пережил немало скорбей, имел выдающихся духовных руководителей — тогдашних настоятелей Николо-Толмачевского прихода, внутренне вырос и после недолгого трехлетнего служения пресвитером Успенского собора в Кремле ушел из мира, приняв постриг в ничем не знаменитой, совсем недавно построенной Зосимовой пустыни. «Не может укрыться город, стоящий наверху горы»: в пустыни ему не удалось уединиться — потянулись люди, как тянулись раньше к отцу Амвросию, в Оптину. Отец Алексий стал знаменит на всю Россию. К нему приезжали великие княгини и приходили нищие мужики и бабы из разоренных деревень. Он принимал всех, пока не ушел в затвор в 1916 го-



Храм во имя святителя Николая в Толмачах
(вид с юго-запада)

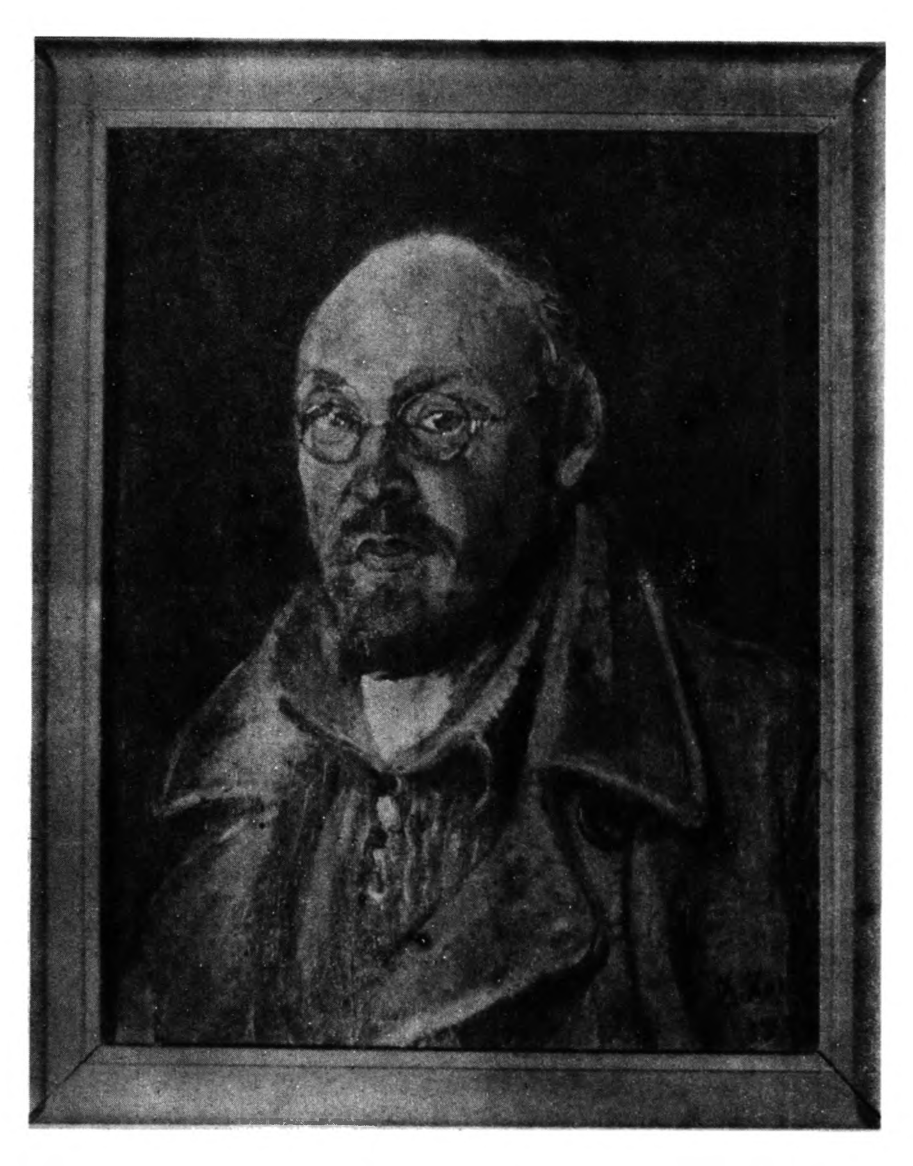
Отец Илья и матушка Любовь в храме

Дом в Толмачевском переулке

Ильин день. 1930 г. А. Ф. Пономарева, Коля, Матушка Евгения, Маша, Ольга Николаевна, М. С. Паутынская, Е. В. Сотникова (сидят слева направо), Ю. В. Разевиг, В. В. Бородич, З. Н. Виноградская, Ф. Г. Пономарева, отец Илья (стоят)



Толмачевцы.



Протоиерей Илья. Портрет работы художника Кирсанова. 1932 г.

ду. Одним из самых близких людей к отцу Алексию был мой отец, которого он взял под свое руководство совсем еще молоденьким, не достигшим двадцатилетнего возраста. Но отец Алексий был в затворе. Зосимова пустынь, как и все монастыри, переживала очень тяжкое время, и по немощи человеческой папе и маме бывало очень сложно и трудно. И хотя они никогда не жаловались, постоянно говорили и нас учили говорить «Слава Богу за все», мы, дети, понимали, что им труднее, чем нам. В нас это вызывало любовь к ним и желание помочь.

С приходом владыки Кирилла все оживали. Он говорил, а мы, дети, не всегда понимая, видели, как внимательно, с глубоким интересом и почтением слушали его отец и мать, как их лица светлели. Детям владыка обязательно уделял часть времени, спрашивал нас, как взрослых, о наших делах, говорил что-то серьезное и ласковое, дарил на память книги. У меня долго хранилась небольшая книжечка «Пролог» с его надписью.

Уехал Владыка осенью 1922 г. в дальний край. Мы несколько раз получали интересные, посланные оттуда с оказией письма, написанные поехавшими за ним детьми известного моского священника, друга папы, отца Иосифа Фуделя. С того года никто из нас владыку Кирилла не видел.

4.

Святейший Патриарх Тихон однажды выразил желание служить в нашем храме. Это было в храмовый праздник — Духов день 1924 года. Патриарху должны были сослужать Митрополит Крутицкий Петр * и еще один архиерей. Был приглашен протодьякон Михаил Холмогоров, а петь должен был маленький мамин хор.

Холмогоров обладал мягчайшим баритоном, не произносил, а пел ектеньи, служил молитвенно. У него был высокий рост, как у папы, красивое крупное лицо, пышные длинные рыжеватые волосы. Несмотря на посулы и угрозы, он отказался перейти на сцену, хотя в частных домах с удовольствием пел романсы, арии и дуэты, иногда с нашей тетей Ларисой.

Вот была суматоха приготовлений, украшений и спевок! Были приглашены соседние батюшки для соборного служения и юноши для прислуживания. Я был как в чаду и совсем не помню службы. Патриарх все нашел прекрасным — облик храма, пение, службу. А потом Патриарх пришел со многими гостями (в числе которых были Митрополит Петр и о. М. Холмогоров), в наши тесные хоромы, где усилиями мамы Куки и прихожан был накрыт великолепный стол. Для Патриарха матушка Любовь достала красивое кресло, а для митрополита Петра и другого архиерея задрапировала наши два ободран-

* Патриарший Местоблюститель Митрополит Петр (Полянский) был расстрелян 2 октября 1937 г. в Челябинске. (*Прим. ред.*)

ных фамильных. Но Патриарх отодвинул кресло и попросил «самый простой стул». Он был так благодушен, что все чувствовали себя по-домашнему, а маленький Коля схватил ручонками и отнял у Патриарха посох. «Ну, быть ему владыкой!» — пошутил Святейший.

Так как отец происходил не из духовной семьи, то он стоял немного в стороне от московского духовенства. У него был небольшой круг очень близких друзей-священников, с которыми он сошелся в студенческие годы. Чаще других забегал сосед папы по приходу отец Петр Лагов — живой, грубоватый, простоватый и очень добрый батюшка, который приютил толмачевцев в своем храме, когда наш закрыли. Потом отец Николай Попов с Воронцова Поля. Очень скромный и очень усердный и ученый. У него мы учились Закону Божиему. Приходил духовник отца, высокий, поразительно худой и жизнерадостный отец Сергий от «Неопалимой Купины», который весь как-то искрился и совсем не похожий на него, тишайший, худенький, бледненький, маленький отец Леонид Полотевнов, которого папа и мама постоянно жалели и очень любили. Он был сын отца Андрея, законоучителя из второй женской гимназии, где училась мама. Его боготворили все ученицы. Нас поражало, когда во время долгого разговора отец Леонид просил прощения и доставал из кармана рясы портсигар. Мама нам говорила: «Не осуждайте!»

5.

Родных, близких и дальних в Москве было много, но некоторые стали далекими. Самым любимым гостем был приезжавший из Крыма бравый дядя Егор. Однажды он переполошил всех в храме, когда внезапно появился в нем и истово отстоял службу — высокий, представительный, в шинели до пят с «разговорами» и с буденовкой под мышкой. Последний раз перед этим, году в 1916-м или 1917-м видели его в нарядной парадной форме морского офицера. В следующий приезд он был одет по-флотски, но гораздо скромнее, чем до революции, хотя и был в чине, равном адмиральскому. Сядет дядя Егор рядом с отцом в «юрьевские» кресла, положит каждый перед собой стопки книг и хвалятся покупками, советуются, а потом незаметно углубятся в чтение, пока не спохватятся. Виновато посмотрят друг на друга и возобновят разговор. Не помню, чтобы они спорили или в чем-то не соглашались. Зато со своей старшей сестрой — моей крестной, тетей Марусей — папа часто расходился во мнениях. Тетя говорила громким голосом, была категорична и резка, очень богомольна, но и в этом как-то жестоковата, чем отличалась от папы.

Самой близкой из родных была обаятельная, артистичная, живая тетя Ларечка, младшая сестра мамы. Глубоких тем с ней не обсуждали, но от нее излучалось тепло и сердечность.

Она, когда могла, подкармливала нас, брала к себе на дачу, достала жестяную печку, около которой мы существовали в первые толмачевские зимы, немедленно приезжала, когда кто-нибудь из нас заболевал.

Дядя Анатолий, последний из братьев мамы, уцелевший до 1938 года, был милый, громкий и насквозь пропахший табаком человек. Он жил где-то на окраине, в развалюхе, занимал скромную должность на железной дороге и интересы его были гораздо более узкого порядка, чем у моих родителей. Жена была у него очень добрая, но уж очень простоватая женщина. Была в нем сердечная простота, детскость, честность и таившаяся в глубине твердость. Несмотря на все несходство, было в них с мамой что-то общее. Все мы его любили и радовались его приходу.

Самыми же частыми гостями были в нашем доме друзья прихожане, духовные дети отца, одним словом «толмачевцы».

Глава V. ТОЛМАЧЕВЦЫ

«Братие, будьте братолюбивы друг к другу» (Рим. 12, 10)

1.

Общество, сплотившееся вокруг Толмачевского храма не было однородным. Были люди ученые и неученые, разного происхождения и воспитания, но все они объединялись глубокой верою в Бога, благочестием, любовью к храму, к своему духовному отцу и друг к другу.

В первые годы бывал у нас Василий Тимофеевич Георгиевский, археолог, известный искусствовед, воспитатель сыновей поэта К. Р., познакомивший Россию с фресками Ферапонтова монастыря. Это был старый друг папы, и когда мы переезжали в Замоскворечье, он нашел квартиру рядом с нами. В церкви он читал и подпевал приятным баритоном, звонил, подражая Ростовским звонам, водил в Исторический музей поклониться только что расчищенной иконе Богоматери. Говорил о старине, своих поездках и находках, людях. Увлеченно принимал участие в маминых спевках. Крупный, осанистый, красивый, с лицом, окаймленным пышной копной седеющих волос. Был он прост и добродушен, и мы, дети, тормошили его, забираясь на колени, и отрывали от разговоров. Умер Василий Тимофеевич в конце 1923 года после недолгой болезни. На его отпевание пришло много профессоров и художников, называли Васнецова и Нестерова. Отпевал митрополит Крутицкий Петр.

Тогда же ушла от нас очень любимая, милая Варвара Николаевна Рудницкая. В первые дни германской войны она по-

теряла молоденького мужа-офицера, оставила на бабушку и дедушку двоих малюток и пошла сестрой милосердия на передовую. Потом работала в больницах, ухаживала за туберкулезными, схватила скоротечную чахотку и очень быстро сгорела. Была она воздушной, вернее неземной, с ярким румянцем на бледном лице и неправдоподобно большими серыми выразительными глазами. Часто от переутомления страшно, с размаху, хлопалась в обморок в церкви, на улице; но пока могла, стремилась в храм. Каждому хотела помочь, но жила нищей. Бедность ее была аккуратно прикрыта накрахмаленной, изящной белой одеждой. Хоронили Варвару Николаевну светло и торжественно. Над ее телом отец рассказал о только что угасшей короткой святой жизни, о мирной кончине, выразил уверенность, что ее в вечности ждет радость, подробно разъяснил чин погребения и смысл молитв за усопших. Отпевание было умилительным и неспешным. Собралось много людей, знавших, любивших, обязанных ей. У больницы, где работала и умерла новопреставленная Варвара, пели литию. Врачи, сестры и ходячие больные вышли на крыльцо. Многие плакали. И во всех окнах были лица. Прохожие удивлялись: кого так пышно хоронят?

2.

Вот смиренная Мария Николаевна Палибина — врач-психиатр, «кладезь премудрости», так ее называл отец.

Мария Николаевна была заведующей и главным врачом психиатрической больницы, что располагалась в старинном имении Акатово под Москвой. Ей было тогда около тридцати лет с небольшим, но нам она казалась старой.

Мария Николаевна была из старинного рода. Получила прекрасное воспитание — к ней была приставлена англичанка. Владела европейскими языками. В университете из-за разрухи пробыла десять лет. Очень любила психиатрию и больных. Интересы у нее были широкие, она много читала. Но никогда не выставляла напоказ свои знания. Делая доброе дело, она поворачивала его так, будто не она, а ей делают одолжение, и когда она брала Андрюшу и меня к себе в Акатово подкормиться и надышаться, выходило, что мы ее выручаем своим согласием и наш приезд для нее великая радость, а не стеснение.

Мы, по глупости, так и понимали, и без зазрения совести располагались в Акатове как у себя дома.

Вот добрейший и почти родной Николай Александрович Рейн — «папа Кока» (он крестил брата Колю) — ученый-ботаник, работавший в Тимирязевской Академии, младший брат известного хирурга, профессора Университета — Ф. А. Рейна. Он остался холостяком, несмотря на все усилия м. Любови его женить на одной из милых толмачевских девушек. Добрейшей

души человек, старавшийся помочь всем и в первую очередь м. Любови. Толмачевцы любили бывать у него дома, в комнатке одного из старых деревянных домов: с ним было о чем поговорить. Любя свое дело, он учил нас, детей, различать полевые цветы, травы, приносил нам работу — составлять гербарии. В 1937 г. он был арестован и бесследно исчез.

3.

Диакон о. Павел Понятовский, служивший «из усердия», носил кавалерийскую шинель, пенсне и раздвоенную бороду, как у генерала Куропаткина. Он служил благоговейно, но огорчал папу тем, что неисправимо «акал», проглатывал окончания слов и вообще произносил слова не на церковный, а на светский манер.

Жил по соседству с нами вместе со своим сыном, студентом-медиком Николаем Павловичем — видным мужчиной, носившем бакенбарды, что делало его похожим на англичанина. Он постоянно бывал в церкви, хорошо пел и читал, отлично звонил по праздникам. Он также, как и его отец, служил в Красной Армии, а потом поступил в Военно-медицинскую Академию, но подписался под заявлением, в котором народ просил не закрывать Троице-Сергиевскую Лавру и его исключили из Академии. Он тогда поступил в пожарные и скоро стал начальником пожарной охраны химического завода на Потылихе. Это помогло ему поступить в Университет для продолжения медицинского образования. Он учился и продолжал работать. Вскоре женился на вдове с двумя детьми. Его жена Наталия Григорьевна тоже была религиозной женщиной и отличалась тем, что демонстративно носила на виду красивый крест. Николай Павлович очень помог нашей семье, устроив на работу брата Сережу, который отлично окончил школу с званием «счетовод—бухгалтер» и целый год не мог поступить ни на работу, хотя и состоял на бирже труда, ни, конечно, в какой-либо вуз. Чтобы устроиться на работу, надо было быть членом профсоюза, а чтобы попасть в профсоюз, надо было устроиться работать. А для сына «нетрудового элемента» это было заказано, так же, как и дальнейшее образование. Только весной 1928 г. Сережа устроился на работу по протекции Николая Павловича под его начальство пожарным на химическом заводе. Это было великое благо: брат стал членом профсоюза, получил приличную зарплату и взял меня на свое иждивение, как тогда говорилось, это открыло ему и мне путь к дальнейшей учебе и работе.

Забегая вперед, скажу, что в войну 1941—45 гг. Н. П. был начальником крупного госпиталя, а в последние годы жизни был домашним врачом Патриарха Алексия. Лечил и гомеопатией. Его дочь вышла замуж за священника.

4.

Две оживленные хорошенькие студентки: Вера Бородич и Вера Рыковская. Обеих ждала большая научная карьера. Вера Владимировна Бородич — специалист по славянским языкам, стала профессором Московского Университета, а позднее — профессором Московской Духовной Академии. Другая Вера стала заведующей кафедрой иностранных языков в высшем учебном заведении. Вера Бородич оставила очень интересные записки о моем отце. После его смерти она стала настоящим опекуном мамы на многие годы.

Сумрачная и стеснительная Мария Ивановна Михайлова, педагог по призванию, работала в дошкольном институте. Она была арестована и выслана на 3 года раньше папы и потом встретилась с ним в одном лагере. Мария Ивановна тоже оставила записки о Толмачах.

Аристократичная, бывшая институтка, всегда серьезная, добрая Юлия Васильевна Разевиг — преподавательница французского языка в высших учебных заведениях.

Вспоминаю, что молодая чета Разевигов, бывшие преподаватели гимназии, люди религиозные, очень тепло встретили появление отца в Толмачах. Сразу нашлись общие знакомые среди московской интеллигенции. Всеволод Владимирович скоро умер, а Юлия Васильевна осталась одна с маленьким Даником. Время было тяжелое — разруха! Глубокая вера в Бога и поддержка друзей—толмачевцев помогли Юлии Васильевне выжить и воспитать сына. Даник вырос хорошим человеком и стал видным ученым-энергетиком.

Юлия Васильевна на всю жизнь сохранила великую веру в Бога и верную дружбу нашей семье.

5.

Начинаешь вспоминать и видишь все такие светлые, ласковые лица. Перечислить их нет возможности, а не упомянуть — грех.

Глуховатый Петр Федосеевич: голым черепом и чертами лица похожий на Ленина, только с добрым выражением.

Пожилая милая княгиня Раиса Адамовна Кудашева — автор детских стихов «Про собачку Бум», «Крошки — корешочки» и рождественской песенки «В лесу родилась елочка».

Представитель известной в Москве своей благотворительностью купеческой семьи Александр Александрович Солодовников * с женой, его свояченица Марина Станиславовна Паутынская — изящная, хорошо одетая женщина, бывшая в курсе

* А. А. Солодовников (1893—1973) — религиозный писатель: писал стихи и прозу. Был трижды репрессирован. Часть его стихов была опубликована в журнале «Новый мир» за 1989 г. № 8. (*Прим. ред.*)

всех литературных, художественных и научных новостей. Ее звали «окно в Европу». Она помогала ухаживать за больной мамой до ее кончины.

Большой папин друг и великий книжник Федор Григорьевич Пономарев и его жена добрейшая Анна Федоровна — детский врач, лечившая нас.

Старые прихожане Василий Иванович и его сын Сергей Васильевич Новиковы. Василий Иванович во время длинных церковных служб и проповедей явственно кряхтел: «Грехи-и,— дела-а», но не уходил из храма до конца службы.

Деревянный дом Новиковых стоял рядом с церковью. Раньше они пекли и продавали хлеб, поэтому при доме были пекарня и булочная, закрытые, казалось, навсегда. Однако после объявления НЭПа мы вдруг увидели, что дверь булочной открыта и улыбающийся Сергей Васильевич приглашает нас войти. Там продавались настоящие белые, еще теплые булки, которых мы не видели целых пять лет. Радости нашей не было предела!

Нервная, вспыльчивая Зоя Николаевна Виноградская.

Самая усердная мамина помощница в хозяйственных делах и на клиросе Гали Константиновна Тюрикова — черноглазая, красивая, очень скромная женщина.

Слепенькая Мари Альбертовна, которую на праздники приводили из приюта.

Вот крохотная, заботливая Александра Евгеньевна — портниха, и Сергей Михайлович — сапожник, живший в глубоком подвале и без конца подбивавший наши ботинки.

Красавица Анна Ивановна Бусурина и скромная Манечка почтовая помогали маме за столом.

Рядом с папой за столом садилась Екатерина Васильевна Сотникова, дама с громким голосом и решительными манерами, сестра известного политкаторжанина, продававшая свечи при входе в храм и бывшая в курсе всех печалей и радостей прихода.

И многие другие. Лица их вижу, но имен уже не помню.

6.

Главной фигурой была Лидия Григорьевна Надеждина, в монашестве матушка Любовь, а по-домашнему «мама Кока», она была крестной брата Коли. Мама Кока раньше была домоправительницей в богатой семье. Хозяева уехали, а она пришла в храм и спросила, чем может быть полезна. Скоро она стала незаменимой, взяв на себя все заботы о храме. Она звонила по будням, прислуживала в алтаре, пекла просфоры, доставала дрова, командовала, когда убирали и украшали храм, следила за порядком, тишиной и чистотой. У Лидии Григорьевны было всегда озабоченное, даже нахмуренное лицо, ее на первых по-

рах боялись и считали суровой. Потом прибегали со всевозможными нуждами. Потому что у матушки Любови был редкий дар делать добро и других наставлять на это. Комната в стареньком домике бывшей приходской богадельни была словно резиновая: в нее набивалось любое количество людей. Лидия Григорьевна была предельно гостеприимна и всегда кого-нибудь кормила — приглашенное духовенство, дальних прихожан в промежуток между службами, нищих старух с паперти — Сашу и Пашу, последних толмачевских богаделок и того, кто случайно забежит. Своих денег у нее не водилось, но она брала в долг у одних, чтобы отдать другим и помочь третьим. Матушка Любовь ворчала, когда, по ее мнению, затягивалась служба, осаживала казавшихся ей докучавшими духовных детей папы, чтобы выкроить чуть больше времени для его отдыха, была резка на язык, даже маме могла сказать в лицо «не будь дурой!», очень ценила «благолепие», т. е. приглашенный профессиональный хор, протодиакона и архиерея на кафедре. Она вечно заботилась послать «вкусненькое» больному, передачу заключенному и посылку сосланному. Вот такая была матушка Любовь, дорогая наша мама Кока! Умерла матушка Любовь в 1947 году.

Конечно, бывали между толмачевцами распри и неудовольствия от несходства характеров и привычек. Бывали обиды и огорчения. Но как сор, щепки на воде. Под ними — глубокая, чистая струя.

7.

Необходимо рассказать о том особом положении, которое занимала среди толмачевцев наша мама — Матушка Евгения или просто Матушка, как ее обычно называли. Она была главной помощницей и опорой отца дома и в церкви. Дома она была рачительной хозяйкой нашей большой семьи, ведь у нее было 6 человек детей. В церкви она бессменно служила на клиросе, где, хорошо изучив устав, вела церковную службу: читала, пела и регентовала своим маленьким хором. Кроме того, часто служила добрым посредником между толмачевцами и Батюшкой.

После ареста и смерти отца мама продолжала служить в церкви сначала св. Григория Неокесарийского на Полянке, а затем, до последней возможности в церкви св. Иоанна Воина на Якиманке. Она прожила долгую жизнь — умерла на 91-м году и 50 лет отдала служению в церкви.

Ниже привожу замечательно яркие, написанные с большой любовью воспоминания о ней ее верного друга и помощника дома и в церкви Гали Константиновны Тюриковой. Они написаны в январе 1974 г. сразу после смерти мамы.

«Я не писала мемуаров, но не написать о нашей Матушке — Евгении Леонидовне Четверухиной я не могу.

Наша Матушка! Это образ красоты духовной, это глубина смирения и кротости, это неиссякаемый источник утешения, это пример долготерпения и подражания.

Я познакомилась с Матушкой 50 лет назад и благословляю день, в который мы встретились. Батюшка служил тогда в храме Святаго Духа в Толмачевском переулке.

В Толмачевском храме службы были ежедневно. Утром — литургия, вечером — всенощная, которая затягивалась до девяти часов, т. к. Батюшка сам канонаршил стихиры, а после службы нередко толковал нам тексты из Священного Писания, разъяснял, приучая нас понимать и любить богослужение, или читал творения Святых Отцов.

Дорогой нам Толмачевский храм, сиявший мрамором и чистотой, озаренный мерцанием лампад был до того холодный, что к концу службы ноги примерзали к полу и еле двигались. Счастливое, незабываемое время! Матушка была усердной помощницей Батюшки. Она ежедневно утром и вечером была в храме. Получив музыкальное образование и обладая хорошими музыкальными способностями, Матушка и читала, и пела, и регентовала.

Отстояв литургию, Матушка шла домой, по дороге делала кое-какие покупки.

Часто бывая у них дома, я ни разу не видела Матушку недовольной или изнемогающей от усталости. Она приносила из храма благодатную силу, была бодра, сильна духом, и умиротворяла окружающих, становилось спокойно и хорошо на душе. Занимаясь обыденными делами, Матушка всегда была в Боге. Никогда не вела она праздных разговоров, все слова ее были душеспасительны. Ни разу не видела я, чтобы Матушка рассердилась или повысила голос. Всегда она была радостна, ровна в обращении, благожелательна и приветлива к окружающим. А когда выдавались свободные минуты, Матушка любила играть на фисгармонии и петь со своими детьми любимые песенки. Часто, перекрестившись, она произносила с благоговением: «Слава Богу за все!» И это не были слова, это была глубочайшая вера в Промысел Божий. Этими словами она встретила смерть Батюшки, смерть маленькой Машеньки. Она печалилась, но не унывала, не падала духом. Все беды, все испытания она принимала, как из рук Божиих, с верой и покорностью Божественной воле.

Являя такую красоту духовную, Матушка была смиренна, почитая себя великой грешницей. Она никого не укоряла и не осуждала. За многие годы нашего знакомства ни разу не слышала, чтобы Матушка кого-нибудь обвинила. В каждом человеке она находила светлые черты и, восхваляя его за это, обходила молчанием его недостатки. А уж если услышит что-нибудь недостойное, то вздохнет, махнет рукой и скажет: «Бог с ним». Некоторым это казалось лицемерием, а мы, осуж-

дающие на каждом шагу своего ближнего, зная ее, восхищались ею.

А с какой любовью, доброжелательностью, встречала она духовных детей Батюшки, которые отнимали у него те немногие минуты, которые он мог провести в кругу семьи, лишали его ужина. Никогда она не роптала. Никогда я не видела и тени недовольства на ее лице.

И вот Матушка заболела. Прикованная к постели, лишенная любимого храма, которому посвятила жизнь, она показала пример долготерпения. Испытывая сильнейшие боли, она ничем не показывала своих страданий, не стонала, не жаловалась, только повторяла: «Слава Богу за все». Оставаясь по целым дням одна, Матушка пела, читала, молилась. Считая себя недостойной малейшего проявления участия, она была всем довольна. Несмотря на страдания, она оставалась светлой, любящей молитвенницей. Дорогая наша страдалица!

Свою духовную красоту она пронесла через долгие годы, сохранив просветленный ум, чистое сердце, действенную молитву.

Мне не пришлось увидеть ее дорогие черты на смертном ложе, но ее духовный образ будет жить во мне до последнего вздоха.

И я верю, что Господь с любовью принял ее и упокоил в Своих небесных обителях».

Эти воспоминания приводят нас к следующему, весьма важному выводу: ежедневная молитва дома и в церкви, строжайшее исполнение церковных обрядов и правил не является самоцелью, а только лишь действенным средством для достижения духовного совершенства, которое заключается в глубокой вере в Промысел Божий, в кротости, смирении, и, главное, в действенной любви к людям, в посильной помощи всем нуждающимся в ней.

Глава VI. БЕСЕДЫ

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Еф. 4, 24)

1.

Всех, кто бы и когда бы ни собирался за нашим столом, привлекало не угощение. Привлекало желание послушать и потребность общения спросить. В дружеском кругу обсуждались церковные вопросы. Политических моментов не задевали.

Отец был превосходным рассказчиком и умел заставить разговориться и других. Без конца можно было слушать, когда папа говорил о своем детстве, старцах, Чудове монастыре, Зо-

симовой пустыни, вспоминал поездку в Саров в 1926 году, перед самым закрытием, рассказывал о дивеевской Паше и других тамошних блаженненьких. Очень ярко описывал папа свои переживания во время ареста и в камере Бутырской тюрьмы. Говорил, с какими необыкновенными людьми довелось провести эти три месяца. Его поразила личность профессора медицины хирурга Войно-Ясенецкого, в монашестве Луки, только что рукоположенного во епископа города Ташкента. Говорил, как они молились в камере. Как вызывали людей днем и ночью на допрос, на этап, на освобождение, на жизнь. Как талантливо и задушевно пела шпана. Папа, живший всегда в несколько замкнутом тихом мирке, окунулся в кипящий котел людских страданий и трагедий и вышел оттуда потрясенный.

Папа говорил о своих новых книгах, показывая их, рассказывал, почему, где, как приобретены, в чем их суть. Иногда речь шла об Эйнштейне или Фрейде, новинках и достижениях науки. Отец утверждал, что всякая наука, если она не отступает от истины, непременно ведет к Богу.

Говорилось о непонятных таинственных явлениях. Папа отрицательно относился к спиритизму, оккультизму, гороскопам, хиромантии и прочим ложным и далеко не безопасным способам приоткрыть завесу, но считал, что иной, потусторонний мир — мир усопших, святых людей и бесплотных духов вплотную примыкает к нашему, так близок, что и представить себе не можем. В подтверждение папа приводил рассказы людей, которых хорошо знал, испытавших в своей жизни необыкновенные вещи. У папы была большая тетрадь, куда он записывал подобные рассказы.

2.

В разговорах поднимались темы недавних проповедей. Всех волновала участь добрых, хороших, но не православных, или не верующих, не крещенных людей. Неужели все они погибнут? А если могут спастись вне Церкви, для чего Церковь?! Отец на это отвечал: «Христос пришел спасти не изолированную маленькую группу, а всех. Ему дорог и афонский отшельник, и девица с панели, и каннибал с берегов Амазонки. Условие для достижения Царства Небесного для всех без исключения одно — надо максимально приблизиться к Богу, а способов достичь этого столько же, сколько людей. Одному для этого требуется вся жизнь, другому — мгновение. В каждом человеке есть семя добра, маленький внутренний человечек. О нем можно не знать, даже не догадываться о его присутствии; его можно заглушить, задавить. Но он может незаметно расти и оказаться готовым для Царства Небесного в каждом — язычнике, мусульманине, безбожнике. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, таящегося в нем...» У Господа свои тайны.

Попытаюсь пересказать некоторые из проповедей, обозначить главные мысли...

* * *
* *

Представьте, что по дороге идет толпа. Уверенно шагают зрячие, твердо ступают здоровые, ковыляют хромые, ощупью пробираются, падают и сворачивают в сторону слепые, кое-как ползут безногие. На убогих жалко смотреть и хочется им помочь. Но что сказать о зрячих и здоровых, которые захотят подражать убогим — свернуть в сторону, нарочно шлепнуться в грязь?!

Мы, православные, имеем все, что нужно для спасения. Мы сильные и зрячие. Нас подкрепляет сила молитв и Таинств Церкви. А другим по той или иной причине этого не дано. Им простительны заблуждения и падения. А нам — нет! Господь жалеет несчастных и протягивает им милосердную руку, помогает ощупью идти к добру. И в них, может быть, даже на пороге гроба, способен вспыхнуть свет, как у разбойника на кресте. И они обгонят нас и займут почетное место. А что ждет нас, когда мы, глядя на окружающих, начнем предпочитать пустые зрелища богослужению, будем ввязываться в дрязги, заглядываться на чужое? Неужели Бог помилует нас только за то, что мы читаем Евангелие, ходим в церковь и умеем вовремя класть поклоны, а людей, ведущих такую же жизнь, как мы, или даже более чистую и сострадательную, осудит лишь за то, что никто никогда не говорил им о Боге, или среди верующих они встречали лишь таких, кого лучше бы им было не встречать? И мы должны не только задумываться о том, спасутся или нет прочие люди, но заботиться о том, чтобы не помешать Господу в деле спасения людей! Как бы, называясь христианином, своим примером не отталкивать от христианства! Вот что важно и о чем мы должны всегда помнить — о нашей ответственности не только за себя, но и за других!

* * *
* *

Бог судит не только по тому, каков человек есть, но и каким он мог бы быть в иных условиях. Я — добропорядочный священник, но если бы не было постоянной заботы Бога — там остановил, там послал встречу — я мог бы быть пьяница или бандит. А пьяница или бандит в моих условиях, возможно, были бы лучше меня. Надо благодарить Господа за его милости, а не гордиться. Одна раба Божия сказала мне после проповеди о гордости, что, дескать, гордость нужна, что гордость — благородное чувство! Какая слепота! Есть гордость

перед братом — я умнее, честнее, образованнее, благороднее. Я пролетарий, ты — буржуй. А раньше говорили: я барин, ты — мужик. Это очень далеко от христианства! Есть гордость перед Богом: я сам всего достиг, это мои труды, мои способности, мои таланты. Можно гордиться даже храмом, духовным отцом (у других такого нет!), даже смирением своим. А без смирения не спастись. Авва Исаак Сирин говорил, что добродетели без смирения — ничто, а одно лишь смирение, при отсутствии прочих добродетелей, может привести к Богу. Смирение в том, что, видя свои недостатки, искренне считать себя ниже, хуже других. Всех. Смирение — не приписывать себе ничего хорошего — все от Бога. Плохое — это мое.

* * *
* *

Мы веруем, а не знаем. Неверующие тоже ничего не знают. Бог — вне исследований человеческих. Агностицизм — не глупость. Безбожие — это глупость. Глупость ведет одновременно к наглости и трусости. В каждом человеке бездна добра и бездна зла.

Недавно пишут из деревни: «Неописуемое горе! Священник отрекся от веры. Был хороший, спешил на требы. Вдруг после обедни, причастив своих детей, вместо проповеди он сказал: «Бога нет, религия — опиум и т. д.» Прихожане хватали его за ноги, молили не губить душу — он оттолкнул их. Вечером выступил в клубе. Многих совратил. «Зачем же этот несчастный в последнюю минуту причастил своих деток? Может быть, он боролся до последней минуты со своим внутренним человеком, топтал его? Может быть, совсем недавно, на Пасхе, он и представить себе не мог, что сделает такой шаг? А вдруг он не все затоптал, вдруг покается и обратится, как Петр, который самого Христа знал и все же отрекся?! Не нам, способным на все, судить кого-нибудь.

* * *
* *

Мы двойственны. Хочется пожить всласть, а Евангелие говорит: «Не можете Богу работать и мамоне...» и еще: «Отвергнися и возьми крест свой и иди за Мною...» и тому подобное. Повелительно. Категорично. Ясно. А мы крест с шеи сняли, носить стыдимся. Иконы в сундуки спрятали. Успокаиваем себя: «Евангелие не для нас! Куда уж нам, не прямо надо понимать, нельзя так жить, как написано... не те времена!..» И еще чего-нибудь придумаем, слукавим. А вот одна женщина Бога боялась, сдерживалась. Потом сосед «просветил»: Бога нет! Она как с цепи сорвалась, заявила, что никогда не была так счастлива: лгать можно, красть можно, блуди хоть круглые

сутки — все можно! Эта пошла напролом. А мы — осторожненькие, хитрим. Кого хотим обмануть? Бога? Себя? Может быть, честным неверам, которые живут в меру своей совести, будет отраднее на Суде, чем нам. Не смущайтесь, если услышите от меня незаконченное или противоречивое. Это признак искренности и жизни. Жизнь идет не прямолинейно, по формулам, а слагается из исканий, борьбы, выбора. В Боге противоречий нет, а в людях их не может не быть.

* * *
* *

О талантах. О неравномерном их распределении. Одному много, другому — средне, третьему совсем ничего. Ведь таланты — это и способности, и здоровье, и наследственность, и воспитание, и условия — словом, все, что дано человеку. Нет ли тут несправедливости, что всем по-разному? У людей почти догмат: справедливо — это когда поровну! Так полагают, а забывают, что в окружающем мире равенства нет — «и звезда от звезды разнствует во славе...». В лесу множество деревьев, все разные, а лес прекрасен! А луг, пестреющий цветами, а птицы, насекомые? Разве лучше было бы упразднить орлов и сорок и развести соловьев, или заменить березы и рябину соснами? Неужели справедливость в том, чтобы всех причесать на один манер? Это, по-человечески говоря, был бы скучный, казарменный мир. Но и в казарме есть повара, музыканты, начальство.

Справедливость в том, что каков бы ни был человек, спрос одинаков: достигнутое минус полученное. Воздаяние по результату. Много дано — много взыщется. Мало — мало!

3.

Когда папа летом 1923 года вернулся из Бутырок, он, между прочим, сказал, что во время следствия ему говорили, что он монархист. А папа это отрицал, утверждая, что христианин не должен быть ни монархистом, ни республиканцем, ему надлежит быть лояльным по отношению к существующей власти. Папа сказал, что никогда в жизни не принадлежал ни к какой партии, потому что в доктринах каждой есть чуждое христианству: партийные, сословные, национальные интересы. Когда они занимают первое место, то разъединяют людей, одну часть человечества ставя выше другой. А задача христианства — искоренение вражды, братство. «Несть иудей, ни эллин, ни скиф, ни раб, ни свободь...» Мы знаем, что были религиозные войны, костры и преследования еретиков и старообрядцев. Но это не по учению Христа, а вопреки Христу... При любых обстоятельствах все заветы Евангелия обязательны. «Бога бой-

тесь, царя чтите». Царя только как носителя верховной власти. А мы наоборот. Власть боимся, а Бога только чтим. Мы боимся власти, ее органов, ее распоряжений, ее неудовольствия, в страхе иногда преувеличивая опасность. Боимся ссылки, тюрьмы, расстрела. От страха становимся двоедушны, неискренни, искательны. Мы теряем свои убеждения иногда так, что сомневаемся, а есть ли они у нас. И от этой напряженности, неискренней жизни мы перестаем уважать себя, а также источник нашего беспокойства — власть. Мы ее не чтим, мы только законопослушны, а в душе и наедине с близкими мы часто браним ее. А Бога не чтим. Мы никогда не позволим себе бранить Бога, даже произнести имя Его всуе. Мы почитаем храмы, иконы. Мы бьем поклоны. А разве мы по-настоящему боимся Бога? Если бы мы действительно боялись Его, какими счастливыми людьми мы стали бы! «Возвесели сердце мое боятися имени Твоего святого!..» Бог справедлив, Бог мудр, Бог милосерд. Он — любовь. Бояться Бога — это бояться огорчить Его. И при этом никогда, никого, ничего не опасаться. Ни бедности, ни мук, ни смерти своей или близких. Ведь все по воле Бога, а Он — доброта!

Когда Государь отрекся от престола, перестала быть действительной данная ему присяга. Наши гражданские обязанности как подданных не изменились, но власть стала иной. Так бывало и раньше. Была власть языческая, христианская, иноверная, теперь — безбожная. Но «кесарево — кесарю» остается в силе.

Форма правления — вещь не принципиальная. Для христианина лишь учение Христа принципиально, а прочее относится ко внешнему миру, вторичное.

Конечно, есть разница между одним строем правления и другим. При одном — по-человечески лучше жить, при другом сложнее. Так же, как есть разница между благоустроенной квартирой и хибарой на юру. Но ведь не позволено же нарушать законы, даже человеческие, не говоря о божеских, чтобы обеспечить себе лучшее жилье?!

Во всем том, что не противоречит Евангелию, мы обязаны повиноваться верховной власти и ее законам. Не лицемерно, как человекоугодники, а добросовестно. Но в вопросах, затрагивающих нашу веру и совесть, мы должны быть тверды и щепетильны. А совесть надо ежедневно, ежечасно проверять по Слову Божию.

Однажды папа пожаловался кому-то, что не может найти хороших перьев. Через день папе принесли его любимые перья № 86. «Спасибо! Откуда?» — «На работе взяла, батюшка!» — «Немедленно несите обратно! Они же не ваши!» — «Но там их много».— «Дело не в том, много или мало!» — «Но это же мелочь, батюшка».— «Нет мелочи для греха. Взяла чужое — своровала, значит!»

4.

Уже когда закрыли Толмачи и очень сгустилась атмосфера, отец говорил:

— «Некоторые авторитеты утверждают: враги Божии должны быть и нашими врагами. Т. е. мы должны относиться к ним враждебно. Другие в этом вопросе колеблются. А у Бога колебаний нет. Договоримся, кто такие враги — это существа, испытывающие ненависть и желающие принести вред. А Христос говорит: «Любите враги ваши!». Если бы апостолы захотели свести огонь с неба на Каиафу или Пилата, разве не услышали бы они еще раз: «Не знаете, какого вы духа?!» Никто из гонимых христиан не покушался на жизнь Нерона или Диоклетиана. Орудия дьявола несчастны и жалки и конец их одинаков. Вольтер сдан в историю. Теперь появились новые ниспровергатели. Будут еще новейшие. А христианство живо! Непобедимо! Но не своей ненавистью, а кротостью и любовью. Не кроткие сами себя угрызают и сводят на нет. Я не стыжусь креста и должен быть первым из вас в исповедничестве. Но легче самому пострадать, чем посылать других. У каждого своя совесть. Требовать в этих вопросах нельзя. Но если кто пострадает за Христа, за свои убеждения, я буду радоваться. Мне будет дорого даже знакомство с этим человеком».

Последние слова отец сказал за несколько дней до того, как его арестовали.

5.

Я часто слышал речи отца, и они проникали мне в душу. Но по молодости и глупости в то время я мало вдумывался в их смысл. Казалось — успеется. Папа будет всегда. Впереди так много времени! А время было считанное. Многое, очень многое отвлекало, развлекало, назойливым жужжаньем заглушая дивное и неповторимое. К великому счастью, другие были внимательнее. Они записывали папины слова. Тогда же, по свежей памяти. Отрывочные, не обработанные, драгоценные записи передо мною. Перечитывая их, я снова слышу негромкий голос отца, его чуть грустную интонацию и вижу блеск добрых глаз, ласково и убежденно глядящих сквозь толстые линзы очков.

6.

Не могу не сказать о музыке и живописи в нашем доме.

Музыка вошла к нам с первых дней детства. Мама очень любила ее, имела приятный голос, тонкий слух. Она получила музыкальное образование, хорошо играла на пианино и много пела, аккомпанируя себе. Мы постоянно слышали ее пение:

сначала колыбельные, затем детские песенки и старинные романсы. Кроме того, она часто исполняла любимые ею произведения Грига, Шопена, Чайковского, Бетховена. По праздникам, когда приходили родные, старший брат мамы дядя Петр и любимая сестра Лариса — оба прекрасные музыканты и певцы устраивались целые вечера.

Затем у нас в доме появился второй удивительный инструмент: большая фисгармония с двумя клавиатурами и многими регистрами. Этот инструмент был приобретен в Германии нашим родственником Сергеем Евгеньевичем Кожуховым, хорошим музыкантом и знатоком музыки. Он жил в Петербурге, занимая большую должность, и был знаком со многими знаменитыми исполнителями и композиторами, нередко даже играл в четыре руки с Чайковским.

В 1912 г. С. Е. оставил светскую жизнь и постригся в монахи Зосимовой пустыни, приняв имя Симон, а любимую фисгармонию с комплектом специальных нот подарил нашим родителям. Мама быстро освоила новый инструмент, он звучал мощно, при некоторых регистрах как орган. Папа тоже научился немного играть на ней. Но музыка уже была иная, серьезная: Бах, Вагнер, Палестрино. Очень подошла фисгармония для исполнения церковной музыки: Бортнянского, Гречанинова и появившегося тогда Чеснокова. Наши музыкальные вечера обогатились серьезной и духовной музыкой. При переезде в Толмачи пришлось продать пианино, но фисгармония продолжала радовать нас. Оказалось, что на ней также хорошо получались и детские песенки, и светская музыка.

Когда к нам приходили друзья и кончался разговор, мама садилась за фисгармонию. Инструмент за суровые годы осип, два-три регистра не выдвигались, но удовольствие от маминой игры все получали истинное. Светская музыка теперь звучала реже, чем духовная, но ведь духовная так прекрасна!

Мама устраивала дома спевки, разучивая новые песнопения к празднику. Или папа услышит где-нибудь необыкновенно красивый распев, командирует маму послушать, мама дома по памяти запишет, переложит для хора и разучит со своими певчими под фисгармонию.

Отец рисовал еще будучи ребенком. Способность к этому искусству передалась ему от матери и деда Н. А. Юрьева, бывших хорошими рисовальщиками. Сохранились его выразительные детские рисунки и большой альбом работ карандашом: хорошо выполненных портретов и пейзажей. Затем он перешел к живописи маслом, где достиг больших успехов. Из его юношеских работ сохранились пейзажи родного Курилова и две удачные копии женских портретов русского и испанского мастеров XVIII века. Затем он перешел на духовные темы. Появилась копия картины худ. Бруни «Моление о чаше», Серафим Саровский, Христос и Богоматерь — копии с икон Плевенской

часовни (арх. Шервуд). Эти картины украшали стены нашей квартиры и часть их сохранилась *.

Фисгармония, киот с иконами, прекрасный портрет митрополита Филарета в резной богатой раме, несколько картин отца, перечисленных выше — вот что украшало наши комнаты. Они были тесно заставлены старой мебелью, сундуками, шкафами с книгами, диваном, креслами, кроватями, хромоногими стульями, некрашенными табуретами, на полу лежали книги и валялись игрушки.

А за дверями комнаты на лестничной площадке тесно сдвинулись кухонные столики, висели корыта, день-деньской гудели примуса, стоял чад, крики и гам, и через это хотелось как можно быстрее и незаметнее проскользнуть, скатиться по перилам, пробежать темный коридорчик с тремя предательскими ступеньками посередине, отворить парадную дверь и выскочить наружу.

Глава VII. ВБЛИЗИ ОТ ДОМА

1.

Улица давала ощущение воли. Куда захочу — туда и пойду. Некогда было нас контролировать. Нам доверяли, и это удерживало.

Первые два года мы боялись отходить от дома. Гуляли в квадратном садике или во дворе. Садик был огорожен высоким забором, зарос бузиной, сиренью, крапивой. В нем росли чахлые вишенки и яблоньки, в середине возвышался прямой высокий ясень с голым стволом, на который было трудно забираться, а вдоль забора раскидистые тополя, на них влезать было куда легче и, спрятавшись в зелени ветвей, ощущать себя Робинзоном. За домом и сараями простирался пустынный двор. Половина его, примыкавшая к глухой кирпичной стене, заменяла нам дремучие леса и тропические джунгли. Нельзя было проходить, а надо было прорубаться через заросли репейника, полыни, иван-чая и ненавистной крапивы. До сих пор опьяняет терпкий запах бурьяна и выгоревших на солнце рыжих пустырей. Он возвращает далеко назад, в голодные и восторженные дни детства. Через два года ни садик, ни двор нельзя было узнать. Воюя с крапивой, мы не жалели и бузины. Вишни и яблоньки почему-то высохли, забор зимой истопили в печурке, вместо него поставили безобразное ограждение из ржавого

* Серафиму Ильичу также передалось умение рисовать. Ему не удалось получить специального образования в юности, к чему он стремился. Он всегда мечтал рисовать карандашом и маслом. Сохранилось много пейзажей окрестностей его любимой Цебельды, где он часто отдыхал летом в доме с ласковым названием «Ясочка», принадлежавшем ранее его тестю Ю. Н. Воронову.

кровельного железа. А двор был захвачен клубом, на нем построили возвышение, поставили скамейки, отгородили заборчиком и пускали по билетам. На сцене выступали синеблузники, и в темные летние вечера крутили киношку. Мы начали осваивать другие территории.

2.

Непосредственно к церковной ограде примыкало здание Третьяковской галереи. Основатель галереи П. М. Третьяков был усердным, богомольным прихожанином Толмачевского храма, он не только сам ревностно посещал церковные службы, но и настойчиво требовал этого и от своих служащих.

Однако такое близкое соседство оказалось роковым для нашего храма: его закрыли по просьбе коллектива Третьяковской галереи и включили в ее состав.

С первого года нашего устройства в Замоскворечье, когда отец поступил по совместительству на должность научного сотрудника в Галерею, она стала нам родной. Мы запросто приходили к папе в кабинет, и он водил нас по залам и показывал хранившиеся там сокровища. Иногда папа, хорошо знавший русскую живопись, собирал целую группу из знакомых и так интересно говорил о картинах и художниках, что к нам присоединялось много чужих, которые не отходили до конца самодеятельной экскурсии. У некоторых картин мы задерживались: производила большое впечатление огромная картина Иванова «Явление Христа народу», великолепные исторические картины Васнецова, Сурикова. Со страхом смотрели мы на искаженное лицо Грозного в картине убийства им своего сына. Зато взор отдыхал на прелестных картинах Брюллова, Крамского, на пейзажах Шишкина, Левитана.

Когда папа был вынужден уволиться из Галереи, мы, дети продолжали вольготно посещать ее, потому что у нас там осталось много друзей, и билетов с нас не спрашивали. Мы радовались, мы гордились таким знаменитым соседом.

3.

В переулке, почти напротив церкви, среди купеческих особнячков, построенных после пожара 1812 года, стоял большой дом, украшенный фронтоном с коринфскими колоннами и тончайшими медальонами с танцующими нимфами. От улицы дом отделяли величественные ворота и кружевная литая чугунная решетка, единственная в Москве. Строили дом Демидовы при Екатерине, и он, переходя по наследству, достался графине Сологуб. В нем сто лет назад жил брат графини, славянофил Юрий Федорович Самарин, общительный, терпимый и радушный человек. В его доме постоянно собиралось большое обще-

ство: Киреевский, Аксаковы, Хомяков, Кавелин. Почтенными гостями было и духовенство Николо-Толмачевской церкви — духовный писатель, маститый протоиерей Василий Петрович Нечаев, будущий епископ Костромской Виссарион, основатель журнала «Душеполезное чтение» и его преемник по приходу и издательской деятельности отец Димитрий Косицын. С ними приходил совсем еще молодой, но окруженный уважением и сочувствием, юный вдовец — дьякон Федор Алексеевич Соловьев, будущий знаменитый отец Алексий — затворник из Зосимовой пустыни.

Летом 1917 года открылся Всероссийский Поместный Собор. Событие, о котором часто говорили дома. Как-то под вечер нас усадили на извозчика и привезли на Ярославский вокзал. На перроне было много людей, с которыми папа и мама здоровались. Подошел поезд. Из вагона вышел отец Алексий Зосимовский. Я его сразу узнал, так как меня и Сережу несколько раз возили в Зосимову пустынь, батюшка всегда ласкал нас. Но в 1916 году отец Алексий ушел в затвор, что было событием и огорчением, ибо он перестал выходить из келлии и к нему решительно никого не пускали. Но теперь батюшку вызвали на Собор.

Отец Алексий вышел из вагона немного сгорбившийся, на его черной одежде светились белоснежные длинные кудри и борода и ласково смотрели молодые глаза. Отец Алексий благословил папу, маму, Сережу и меня и сказал что-то доброе. Его куда-то повели, а мы вернулись домой.

Старцу Алексию досталась честь вынуть из Святой чаши, стоявшей на престоле в алтаре храма Христа Спасителя, жребий, кому носить белый с золотым шитьем куколь Всероссийского Патриарха. Легкий, светлый куколь, но более тяжелый, чем если бы он был отлит из свинца.

Вынимал жребий отец Алексий коленопреклоненно, с великим страхом и благоговением, крестясь, протягивая с молитвой дрожащую руку. А над ним возвышался знаменитейший громоподобный протодиакон Константин Розов, ожидая момента, когда сможет пророкотать с амвона притихшей толпе имя новоизбранного, двести лет жданного главы Церкви Русской: «Великому Господину и Отцу нашему, Святейшему Патриарху Московскому и Всероссийскому Тихону, многая лета!»

И зазвонят во все колокола, и звон подхватят колокольни всей Москвы, и восторженно запоет толпа, обступившая колоссальный белый собор: «Тебе Бога хвалим!» и почудится, что это не начало, а уж конец великим испытаниям, выпавшим на долю Церкви.

Но все это было потом, а пока молоденький грустный диакон скромно сидел в конце стола, застенчиво пил чай и впитывал в себя интересные и мудрые беседы уважаемых людей.

Потом барский дом купила казна, достроила и поместила

в нем шестую мужскую гимназию, которую трогательно вспоминал доживавший свой век в эмиграции в Париже писатель Иван Шмелев. После революции гимназию преобразовали в школу второй ступени. В этой школе довелось учиться братьям и мне.

Мы глядели, как с фронтона сдирали огромного черного дерева двуглавого орла и он, упав, разбился на куски. Как безжалостно отбили от фасада балконы, не желая тратиться на ремонт, как по той же причине скололи изящнейший карниз в беломраморном зале. Как на сверкающих стенах зала намалевали красной краской цитаты, грубо вбили крюки и развесили серые дешевые портреты, которые регулярно во время всей нашей учебы сменялись.

Перед главным домом, замыкая с двух сторон квадратный двор с обязательным круглым цветником посередине, стояли двухэтажные флигели, в которых жили учителя и служители гимназии — школы. А за флигелями раскинулся обширный сад, остаток огромнейшей демидовской усадьбы.

4.

Замоскворечье, когда мы его увидели, напоминало декорацию к «Спящей красавице». Сквозь булыжник мостовой пробивалась трава. Одичали сады при особнячках, сады большие, с аллеями и павильонами, заросшие, тихие. Тихими были и дома. Некоторые из них были хотя и необитаемыми, но еще целыми, и в них стояла кое-какая мебель, а другие зияли выбитыми стеклами и сорванными дверями. Тихо было и на улицах. Прошаркают веревочные подошвы, прошлепают босые ноги, процокают копыта, прогромыхает подвода — и все. Лишь когда прожужжит аэроплан, а это было чаще, чем появление автомобиля, выбегут на мостовую, запрыгают и загалдят дети: «Ероплан, ероплан, посади и меня в карман!» И опять тишина. Самый привлекательный сад был при бывшей гимназии. Не знаю, пускали ли в него раньше гимназистов, но мы застали его сильно запущенным, тенистым. В нем росли громадный клен, каштан, пирамидальные тополя. Его украшала искусственная горка. Когда-то в саду был пруд, но его давно засыпали, получилась солнечная лужайка. Теперь на ней были разбиты грядки, принадлежавшие учителям, и на них росли морковь, лук, капуста и редис. Вдоль кирпичного забора шла липовая темная аллея, прозванная «аллеей вздохов». В вечерние часы по ней прохаживался опальный Новгородский митрополит Арсений, один из кандидатов в патриархи, живший в квартире бывшего директора гимназии Федора Александровича Виноградова под домашним арестом. Владыка иногда посещал нашу церковь, но никогда не служил, а стоял в алтаре — высокий, седой.

Посторонних в сад не пускали, но для нас сделали исключение. Преподаватели и их семьи ходили в нашу церковь, и при их содействии папа был выбран на освободившееся после смерти старого настоятеля место. В те годы духовенство не назначали, а избирали. Учитель русского языка Н. Л. Туницкий ранее был профессором Духовной Академии, когда там учился отец. Другой учитель литературы Вс. Вл. Разевиг подружился с папой в религиозно-философском кружке Флоренского и Новоселова. В этих семьях, а также у Веселовых, Грачевых, Зверевых были мальчики и девочки. С этой командой мы скоро стали неразлучны и нас с трудом загоняли домой.

5.

В те годы в Москве было примерно 700 церквей, в том числе 640 православных, и все действующие и все непохожие. Особенно часто размещались церкви в Замоскворечье. На одной Большой Ордынке было шесть действующих храмов.

Можно было найти по душе: усердному — службу уставную, долгую; немощному — краткую, ценителю — с голосистым протодьяконом и слаженным хором. В одних торжественно служили архиереи, в других — заставляли плакать проповедники. Где ревниво хранили предания, где пылко вводили новшество.

Папа не возражал, если мы просили разрешения пойти ко всенощной в другой храм. Таким образом нам удалось посетить довольно много ближних и дальних храмов.

Рядом с Толмачами стояли любимые простым народом Кадаши — двухэтажный старинный и очень красивый храм. Настоятелем его был известный протоиерей Николай Смирнов. У всех прихожан этого храма были молитвенники, напечатанные русскими буквами, и пели все.

Немного дальше стояла великолепная Скорбященская церковь, построенная, по преданию, Баженовым, там всегда была торжественная служба. Близко от нее стояла очень большая, нарядная церковь Климента, построенная одним из учеников Растрелли. Рядом были старинные и непритязательные Пыжи и много других. Мы любили ходить в Иверскую церковь на Ордынке или церковь Параскевы Пятницы на Пятницкой, где всегда была торжественная служба и хороший хор.

Особенно часто мы ходили в одну из двух церквей Марфо-Мариинской обители милосердия, где вторым священником служил скромный и очень добрый о. Вениамин — наш духовник. Настоятелем был известный в Москве протоиерей о. Митрофан Сребрянский. Женский хор обители был замечательным — истинно «ангельским». Размещалась эта обитель на Ордынке недалеко от Толмачевского переулка. Она занимала обширный участок с большим садом. Обителью милосердия назывался женский монастырь—больница, основанная великой

княгиней Елизаветой Федоровной, вдовой трагически погибшего великого князя Сергея Александровича. Она же была и игуменией этой обители. Во время германской войны ею был организован большой прифронтовой госпиталь. Походная церковь этого госпиталя была привезена в Москву и сделана домовой церковью больницы. Главный Покровский собор, построенный в новгородско-псковском стиле, был настоящим произведением искусства, он был построен по проекту арх. А. Щусева, расписан М. В. Нестеровым и П. Д. Кориным. Марфо-Мариинская обитель была закрыта в 1926 г., священнослужители и многие сестры были арестованы.

Елизавета Федоровна была великой благотворительницей и подвижницей. Она помогала не только больным, лежащим в ее обители, но и всем обращавшимся к ней за помощью. Спала на голых досках и выполняла наравне со своими «крестовыми сестрами» любую грязную работу при уходе за больными. Елизавета Федоровна была казнена в Алапаевске в 1918 году. Ее живой бросили в шахту вместе с несколькими членами царской фамилии. Она до конца оказывала помощь лежащему рядом умирающему родственнику, перевязывала его раны. В 1990 году во дворе ее обители рядом с Покровским собором установлен памятник с надписью: «Великой Княгине Елизавете Федоровне с покаянием». На памятнике из белого мрамора она изображена в одеянии «крестовой сестры». В 1992 году Великая княгиня прославлена в лике святых.

Похожая обитель милосердия была также недалеко от нас, на Полянке. Она называлась «Иверская община». Женщины — члены этой общины обслуживали и лечили больных детей. Там тоже был очень красивый небольшой храм во имя Иверской иконы Божией Матери.

Глава VIII. ВДАЛИ ОТ ДОМА

1.

Мои посещения более отдаленных церквей давали многое. Я всегда благодарю судьбу, что мне в моих странствиях по Москве удалось узнать и прочувствовать то, что вскоре перестало существовать. В основном мы посещали старинные церкви в центре Москвы. Мне довелось присутствовать на службе в нижнем храме церкви Василия Блаженного, которая действовала до 1930 г. Необходимо сказать о таких удивительных церквах, как например «Никола Большой Крест» на Ильинке, стройная, лазоревая, покрытая белокаменным кружевом. А какое величественное крыльцо возводило к этому храму! Внутреннее убранство было достойно наружного. Сначала резьба иконостаса и киотов, высокая живопись икон XVII века и впе-

чатление музейной сохранности в сочетании с полнокровной церковной жизнью. В церковь приходили со всей Москвы: там настоятельствовал очень яркий человек, отец А. Свенцицкий. Или церковь Николы на Столпах на углу Малой Маросейки и Армянского переулка, рядом с мавзолеем боярина Артамона Матвеева. Она была тоже неискаженной ни снаружи — ее окружала высоко поднятая галерея — ни внутри. Поразила она меня своей внутренней белизной: ни одной фрески! Церковь казалась просторной, светлой, воздушной и холодной.

Некоторые замечательные церковки мне показал папа, например, малюсенькую, с двумя шатрами на крыше, в Старо-Панском переулке в Китай-городе, другие я обнаружил сам. Многим из них к 1930 году был возвращен первоначальный облик, они были тщательно реставрированы, по крайней мере, снаружи, как, например, Казанский собор на Красной площади. А через год-два их снесли. Их давно нет, но они живут в моей памяти.

2.

Посещая церкви, расположенные в центре близко к Кремлю, невольно вспоминаю 1917 год.

В то тревожное лето папа и мама часто ездили в Кремль к святыням и в надежде увидеть отца Алексия. Часто брали с собой нас. Мы и раньше бывали в Кремле, но только в эти, последние перед закрытием недели, он открылся нам.

Впервые мы увидели беломраморную подземную усыпальницу Великого князя Сергея Александровича, на месте гибели которого, при въезде в Кремль стоял огромный красивый каменный крест, который был выполнен по рисунку В. М. Васнецова. На нем надпись: «Отче! отпусти им, не ведают бо, что творят!» Усыпальница и крест были сооружены Елизаветой Федоровной. Понравилось окошечко в стене Чудова монастыря, где продавали теплые просфоры, которые можно было тут же есть, не натощак. Слушали мы пение мальчиков — знаменитого хора (Синодального) в церкви Чудова монастыря и видели других мальчиков, что прислуживали там. Они были в светлых нарядных стихарях. Я спросил: «А нам с Сережей можно в таких ходить?!» Мама сказала, что можно, и обещала сшить, чтобы мы в них помогали папе в алтаре.

Помню огромный Успенский собор с темными иконами и серебряными раками святителей, к которым мы прикладывались, и рукой митрополита Ионы, что высовывалась из гроба и грозила. Мама рассказывала почему, но я забыл. Но особенно запомнился Архангельский собор, темный, заставленный одинокими надгробиями, покрытыми темно-вишневыми покрывалами. На каждом надгробии стояла икона и перед ней горела лампада, да еще горели свечи. Мы тоже купили свечку и поставили к мощам маленького Димитрия-царевича, которого за-

резали в Угличе. Над гробиком висела его белая рубашечка в пятнах крови, ожерельце и лежала горсточка орехов. А в тесной каморке, отдельно от других, были гробницы его отца, царя Ивана Грозного, и двух старших братьев: царевича Ивана, которого убил сам отец, и царя Федора. Было страшно от того, что находишься рядом с могилами людей, о которых слышал столько удивительного, похожего на сказку, но которые жили на самом деле, только очень давно.

3.

В соседнем дворе, в хибарке, жил любопытный человек, лет сорока, из простых, по имени Никифор. Чем он занимался, не знаю. Он под праздники звонил на колокольне, учил этому нас, в храме подпевал, заходил домой поговорить с папой, помогал, когда требовалась мужская сила, месяцами пропадал. Мы, мальчики льнули к нему, так как из всех взрослых он был наименее взрослым. Мы чувствовали себя с Никифором «на равной ноге». Он любил рассказывать нам что-нибудь необыкновенное и показать особенное. Разговоры велись не дома и не во дворе, а на улице, во время прогулки. Иногда мы уговаривали его, иногда он сам нас, но исходили мы с ним много. В дальние загородные походы с ночевкой он брал только Сережу, а если поближе, до вечера, то чаще ходил с ним я. Целью прогулок были окраинные монастыри — Симонов, Данилов, Донской, кладбища, старинные усадьбы. Никогда мы не шли прямо, а петляли по переулкам, чтобы взглянуть на какой-нибудь старый примечательный дом и услышать от Никифора, кто в нем жил и что там произошло в давние или недавние времена. Никифор рассказывал нам про архиереев, купцов, юродивых, злодеев, вельмож. На кладбищах обращал внимание на достопамятные могилы: в Даниловом монастыре — на неугасимую лампаду над могилой Гоголя и надпись: «Горьким словом моим посмеются...», на скромный крест, поставленный Чехову, а в Донском обращал внимание на красивые скульптуры, в том числе на знаменитого бронзового плачущего ангела, выполненного Мартосом, поставленного неутешным мужем над могилой Анны Петровны Кожуховой — бабушки известного схимонаха Зосимовой пустыни Симона, в миру Сергея Евгеньевича Кожухова, и глухую стену — надгробие на могиле убитого Столыпина и говорил: «Как застенок!»

Куда бы мы ни заходили с Никифором: на дачу, квартиру или келью, везде его знали, и нас поили чаем. Брат рассказал, что однажды они заночевали на подмосковной даче Цюрупы, и там Никифор был в приятелях, и несмотря на хлеб-соль, честил хозяина: «Столбовой дворянин, а с кем связался?! Не видишь, что-ль, что творится?!».

4.

Как-то раз, дойдя до красных стен и могучих башен с узорчатыми верхами Донского монастыря, Никифор показал нам за воротами не теми, что под колокольней, а другими, двухэтажный домик, прилепившийся к стене, и сказал, что там под стражей живет Патриарх Тихон. В тюрьму его посадить не решились.

На площадке перед воротами, под деревьями монастырского сада, на деревьях были люди. В рясах и в штатском, старые и молодые, интеллигентные и простые, мужчины, женщины, дети. Они стояли, сидели, лежали на траве, молчали, говорили, жевали. Бросились в глаза два-три художника, среди них был и Павел Корин, они набрасывали на холсте и на бумаге богомольцев, стены, ворота, домик. Все смотрели в одну сторону, все ждали. Ждали, когда заключенному Патриарху разрешат на полчаса взойти наверх, на монастырскую стену, подышать воздухом. Когда маленький старичок с добрыми чертами лица показался над парапетом и высоко над толпой молча заходил взад-вперед, медленно благословляя людей, стало тихо-тихо. Слышны были всхлипывания, люди становились на колени, протягивали сложенные ладони, крестились. Художники лихорадочно рисовали. Были и такие, что глядели на Святейшего со злорадной усмешкой.

В церквах и в молитвах поминали Тихона, Святейшего Патриарха Московского и Всероссийского. Тогда не произносили «всея Руси». Дома о Патриархе говорили с надеждой и любовью.

Когда я, стоя под деревьями Донского монастыря, смотрел на грустное лицо Святейшего, который не мог ни сойти к народу, ни сказать слово в утешение, я вспоминал, как видел его на высокой паперти, осененного хоругвями, под звон колоколов, при радостном, мощном пении народа. И мне было так горько!

Когда Патриарх скончался, папа взял нас с братом проститься. Широченная очередь стояла от трамвайной остановки на Б. Калужской улице до паперти главного собора Донского монастыря. Папа провел меня в боковые двери, и мы поднялись на помост в последний раз поцеловать святую руку. Лицо Патриарха, по обычаю, было закрыто. Во дворе продавали жестяные круглые значки с портретом покойного — я долго носил эту фотографию, пришпилив ее к рубашке. Отдать последний долг Святейшему пришли и все представители иностранных государств. На отпевание папа не мог прийти — было Вербное воскресенье, и нас не пустил, сказав: «Задавят!» Рассказывали, какое было столпотворение и что не оставалось свободных веток на деревьях. На двадцатый день папа опять взял меня в Донской и отслужил панихиду на могиле Патриарха.

Глава IX. КАК ЗАКРЫЛИ ХРАМ

Это не произошло внезапно. На Пасхе 1929 года пришли какие-то люди из Третьяковской галереи и сказали, что общее собрание сотрудников Галереи постановило потребовать закрытия Николо-Толмачевской церкви и передать это здание Галерее для расширения экспозиции. Пришедшие, вполне интеллигентного вида люди, благожелательно советовали сразу же согласиться с решением собрания и не протестовать, не заниматься бесполезными хлопотами. Они давали понять, что храм ожидает неплохая участь, ведь он попадает в культурные руки.

Среди сотрудников Галереи, живших по соседству, было немало давних прихожан нашего храма, которые, плача, признавались папе, что по немощи человеческой, по боязни, они тоже голосовали «за».

Услыхав тягостное, но не удивительное по тем временам сообщение, отец и приходский совет решили сделать все от них зависящее, чтобы отстоять храм, а там — будь воля Божия! Было подано заявление в Моссовет, потом апелляция в Президиум ВЦИКа. Каждый день усиленно молились о сохранении дорогой святыни. Приглашенный фотограф запечатлел на память вид главного иконостаса, приделов, росписи, сфотографировал и папу, произносящего поучение, и матушку Любовь рядом. Заснял группу прихожан во главе с папой у северной стены главного храма и вид на колокольню.

Господь решил по-своему, и хлопоты не увенчались успехом, везде было отказано.

Мама, Андрюша, Коля и Машенька с Клавдией в это время жили на даче в Балашихе. Сережа ходил на дежурства в пожарную охрану завода, а я слонялся по Москве в поисках работы и помогал также папе по дому.

Однажды, когда папа вернулся из храма от литургии, в дверь постучали. Вошедший сказал, что он просит папу открыть храм и достать опись имущества, так как пришла комиссия принимать храм. Папа перекрестился, послал меня к матушке Любови за ключами, взял большие конторские книги, где были записаны иконы, облачения, утварь, книги, и лампады, принадлежащие храму, и пошел на паперть. На ступенях, ведущих к храму, стояли незнакомые люди, вошедшие вместе с нами в отпертые матушкой Любовью двери. Не все из них сняли кепки. Мы, войдя, перекрестились.

Церковь еще хранила тепло утренней молитвы. Где-то горела непотушенная лампада, пахло ладаном, маслом, воском и в солнечных лучах клубился голубоватый воздух.

Группа вошедших стояла у входа, озираясь в непривычной обстановке. Люди как будто колебались, не зная, с чего начать. Они, казалось мне, жалели, что впутались в это дело, и у меня

в душе затеплилась фантастическая надежда. Мне вдруг померещилось, что папа, войдя в артарь, отдернет завесу и произнесет певуче: «Слава Святей и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице!» а кто-то ответит: «Аминь!», и зажгут лампады, и поставят свечи, и с души снимется невыносимый груз.

Но люди у входа стряхнули с себя минутное оцепенение, зашевелились, заговорили, что-то сказал папа, отдал им книги, а сам отпер дверцы шкафов и ящиков, открыл вход в ризницу и врата алтаря, и началось движение.

Вошедшие разбрелись по всему помещению, глядя на иконы, паникадила, подсвечники, что-то считая и отмечая в книгах. Папа то посылал меня в дом отнести его собственные богослужебные книги, находившиеся в церкви, то принести из дома церковные иконы, которые постоянно подновлял папа. Царские врата, раскрытые настежь, превратились в обыкновенные двери, и за ними виделся опустевший престол, и к нему прикасались, что-то ставили на него и, облокотившись, писали чужие люди.

Я с ужасом смотрел и остолбенело ждал, чем же это кончится. Но вот меня позвали за чем-то в алтарь — я стоял на амвоне у Царских врат — и я вопросительно взглянул на отца. До сих пор я еще не решился пройти сквозь них. На лице папы я увидел такую тоску, и он так махнул мне рукой, что я понял: все кончено! Я пошел, и во мне что-то оборвалось. Чуда не произошло. Произошло спокойное, чудовищное убийство бесконечно дорогого, живого. У меня судорогой сжало челюсти. Я видел, что папа бледен, отвечает на вопросы сдавленным, бесцветным голосом, глаза его потеряли блеск. Я тоже ходил, говорил, показывал, уносил, подавал что-то, совершенно машинально, не испытывая ничего, кроме крайней усталости. Наконец формальности закончились и папа, матушка Любовь и я стали лишними.

На пороге я остановился. Пришлось сделать усилие, чтобы не перекреститься. Было очевидно, но в меня не вмещалось, что я все это вижу в последний, последний на земле раз. Что завтра ничего этого не будет.

Пока еще стояло на своем месте распятие, привычно глядели глаза святых на иконах, но вместо ладана уже тянуло откуда-то табаком, постукивал молоток, скрипело отдираемое дерево и кто-то бесцеремонно окликал другого через все помещение, насвистывал и притоптывал.

Папа неделю лежал с сердечным приступом, а у меня было гадкое ощущение причастности к преступлению.

А новый владелец, точнее — люди, стоявшие во главе этой гордости Москвы, обязанные по долгу службы ценить и хранить красоту, быстро-быстренько, как бы боясь, что отнимут, расправились с приобретением. Опустошили внутренность, сня-

ли не только кресты, но и купола, и даже барабаны, разбили на куски певучие колокола, а они надрывно рыдали при этом, а потом разобрали до основания дивную, стройную, как перст, колокольню. И остался на этом участке безобразный, лишенный жизни обрубок *. Толмачи закрыли. Их не стало на земле. Исчез один из московских очагов духовности.

Закрытие любимого храма было большим горем для толмачевцев. Их чувства в то тяжелое время точно и ярко выразила поэтесса Раиса Адамовна Кудашева.

Храм и пастырь

Уединенный, малолюдный,
Наш тихий благолепный храм,
Отрада, отдых в жизни трудной,
Приют святой был дорог нам.
Мелькали дни, недели, годы,
Менялась жизнь в родной стране.
И скорбь, и радость, и невзгоды
Мы в тот же Божий храм несли.
И возносился к Богу Славы
Напев смиренный и простой.
Благоговейно, по уставу
Служил наш пастырь дорогой.
В борьбе с грехами и скорбями
Он нас в надежде укреплял.
Наш ропот, немощи, ошибки,
Сомненья, вкравшиеся в грудь,
Он все прощал с благой улыбкой,
Благословляя снова в путь.
И наши слезы покаянья,
Порыв к добру, как ни был мал,
С каким участливым вниманьем,
С какой любовью он встречал.
Закрыт наш храм... Он пуст, печальный.
Завет алтарных сорван шелк,
Нет огоньков лампад хрустальных
И звучный колокол умолк.
Но наш отец духовный с нами.
Он перешел в другой приход
И вечной истины словами
Вновь в царство правды нас зовет.
Да будут, пастырь терпеливый,
Все спасены к закату дней —
И Богом данная Вам нива,
И Божий сеятель на ней.

* Сейчас одновременно с капитальной реконструкцией Третьяковской галереи идет восстановление и Толмачевского храма. *(Прим. ред.)*

Глава X. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ХРАМА

Папа, оправившись от болезни, вместе со своими прихожанами приютился под гостеприимным кровом церкви Св. Григория Неокесарийского на Полянке, приглашенный добрым другом, настоятелем его, о. Петром Лаговым * .

Осень 1929 г. была тяжелой и тревожной не только для толмачевцев, лишившихся любимого храма, но и для всех верующих москвичей. В этом году власти начали решительное наступление на Церковь: было закрыто большое количество церквей и часовень. Была разрушена даже часовня Иверской иконы Божией Матери, которая после закрытия кремлевских соборов считалась главной московской святыней. То тут, то там арестовывали священнослужителей, членов церковных советов и просто верующих. На колокольнях начали разбивать колокола большие и малые. И разноголосый, прощальный набат, звучавший весь день, еще долго тревожил москвичей.

Но и в этой удручающей обстановке толмачевцы решили отметить юбилей своего духовного отца — двадцатилетие его церковного служения.

Было решено поднести Батюшке адрес. Написать его было поручено тогда еще молодой Вере Владимировне Бородич. Она написала его в один вечер. «Писать о Батюшке было совсем не трудно, слова сами ложились на перо»,— вспоминает В. В. Бородич. После длительных согласований и сбора подписей адрес был готов.

Далее приводятся воспоминания Веры Владимировны об этом юбилее.

«Юбилей отмечался в четверг 24 Октября. Вечером в этот день Батюшка собирал у себя гостей. На этом собрании решено было прочитать адрес, причем это было поручено Екатерине Васильевне, как старшей среди нас.

Вот помолились и сели за стол.

Екатерина Васильевна начала читать и сейчас же перепутала слова эпиграфа. Сердце у меня замерло, но Батюшка сам ее остановил. «Неверно читаете, здесь не то написано». Он следил глазами за чтением Ек. Вас., сидевшей рядом с ним, и сам прочитал эпиграф. У меня отлегло от сердца. Дальше чтение пошло лучше. Екатерина Васильевна стала медленно и четко читать адрес. Я привожу его здесь:

Уста наши отверсты к вам, Коринфяне,
сердце наше расширено.
Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших
тесно (2 Кор. 6, 11—12)

---

* Протоиерей Петр Лагов был арестован в 1936 г. и пропал без вести (*Прим. ред.*)

«Благодарить всегда время и всегда место; и сегодня цель этих слов одна — выражение благодарности.

Так бесконечно много видим мы от Вас, дорогой Батюшка, внимания к нам, участия, забот, так много любви к каждому в отдельности и ко всем вместе, что трудно нам ответить как должно на это, и слов не хватает, чтобы выразить нашу признательность. Правда, благодарность должна выражаться в поступках и во всех наших действиях, во всей нашей жизни. Но чтобы не оказаться вовсе неблагодарными, мы рады воспользоваться подходящим случаем, чтобы сказать о том, как мы ценим Ваши заботы о нашем спасении, Ваше внимание, Вашу любовь и как бесконечно благодарны Вам за все.

Сегодня исполнилось 20 лет со дня принятия Вами, дорогой Батюшка, благодати священства, наполнившей Вас своими дарами, которые Вы свято храните в своей пастырской деятельности.

Сегодня в тесном кружке духовных детей, живущих под Вашим руководством, нам хочется сказать только об одном наиболее важном: руководстве и воспитании нас, Ваших больших возрастом, но малых духовным разумом детей в духе Христовом.

Все мы, здесь собравшиеся, пришли из разных мест, мы все — люди разные — и возрастом, и положением, и образованием, и характерами, нас всех привела в одно место наша вера и стремление к духовной жизни, но связала и объединила нас Ваша любовь. Нас много здесь, и на всех хватает Вашей любви, все мы в Вашем сердце, для каждого из нас отведено немало места там, и нам не тесно в нем, потому что сердце Ваше расширено, но сердцам нашим тесно, тесно от преисполняющей нас благодарности, тесно, потому что не умеем ответить как должно на Вашу любовь, тесно, потому, что не можем отблагодарить Вас такой же любовью, бескорыстной и самоотверженной. Наша ответная любовь таит в себе немало элементов эгоизма.

Часто наше духовное состояние требует строгости, и Вы своими обличениями, своей холодностью заставляете нас страдать, но вместе с нами страдаете и Вы.

Иногда, в минуты искушения нам кажется чрезмерной Ваша строгость, когда же отходит искушение, ясно становится, что Вы действуете по Божией воле, и за строгостью и запрещениями скрывается Ваша самая искренняя забота о нашем спасении.

К каждому и в каждом случае Вы подходите особенно. Как апостол Павел говорил о себе, что он «всем был вся», также можно сказать и про Вас. Кто бы ни пришел к Вам, с чем бы ни пришел, каждый находит отклик на всякую свою заботу или печаль. Иному нужна строгость, иному утешение, и каждому Вы даете именно то, что нужно ему.

Где, в каком храме можно видеть, чтобы священник, не жалея себя, исповедывал с утра до полудня и вечером до поздней ночи, как Вы?

И как же много дает нам Ваша исповедь! Редко бывает, чтобы кто-нибудь ушел от аналоя равнодушным и холодным. Уходит или утешенный, и растроганный бывает до слез, или, наоборот, выходит потрясенный грозными обличениями, так что дух захватывает от ужаса. Вы проникаете в самую глубь души и без сожаления бьете и поражаете в самое сокровенное, в самое болезненное. Но как же хорошо, как легко бывает смириться после таких обличений, как легко убедиться в том, что действительно никуда не годишься, и слезы откуда-то возьмутся, и чувствуешь себя «отребьем мира», и как сладко бывает после такой грозы прощенье, когда Вы, как будто желаете вознаградить за все перенесенное, когда сами готовы просить прощенья за то, что заставили потерпеть, и жалеете и утешаете, как только можете утешить. После такой грозы чувствуешь себя обновленным, как бы встряхнутым и готовым положить «начало благое».

Громадна также сила обличений с амвона. И нет никого, кто бы не испытал ужаса их с одной стороны и чуда возрождения после пережитого обличения, с другой стороны.

Мы должны отдавать Вам отчет не только в своих грехах, но и во всех делах, словах, мыслях и настроениях. С каждым своим недоумением мы обращаемся к Вам, и на все получаем ясный ответ, именно такой, какой нужен в данном случае, и кажется, что другого ответа не может быть, и ясно видна в Ваших словах воля Божия. Иногда бывает непонятен Ваш совет, но, если послушаешься и исполнишь, то столько получишь утешения и пользы духовной, что удивляешься, как не видел этого раньше.

Всех нас Вы знаете, почти как самого себя. По лицу, по одному только выражению, даже только по тому, кто как подходит под благословение, Вы узнаете, в каком кто находится состоянии, и соответственно тому и сами отвечаете как нужно на это, как мы того заслуживаем. Вы не только принимаете и отпускаете наши грехи. Вы руководите нашим чтением, и заботитесь о нас как родной отец. Там, где Вы не можете помочь делом, там помогает Ваша молитва. И невольно со всеми огорчениями и горестями прибегаем к Вам, потому что у Вас всегда находим мы участие, а главное — молитвенную помощь. Как часто бывало, что, когда Вы особенно пожалеете и помолитесь — приходило облегчение, обходилась неприятность, проходило нездоровье.

В Вашей семье мы чувствуем себя как дома — среди родных. И нет места в мире, где бы нам было так тепло, так приветно, как в Вашей семье.

Даже вне храма, вне Вашего дома, на службе, в общении

с миром,— везде за нами следуют Ваши молитвы, и невидимой броней одевают нас.

И как же сильно чувствуются они, когда бываешь далеко от Вас. Вот, кажется, совсем одолевает искушение, и молиться не можешь, но вдруг какая-то невидимая сила встряхнет и отодвигается искушение — и радостно делается от того, что в эти трудные минуты кто-то молится за тебя, и знаешь, что не погибнешь молитв ради духовного отца.

Много говорили Вы и говорите нам о любви к Богу и людям, но не только словами Вы учите нас, но и самым своим примером, Может быть, первое время в Толмачах многим из нас непонятны были слова о любви к ближним и мало говорили душе. Теперь же, когда мы узнали Вашу любовь, совсем иначе звучат те же слова. Отвечая на нее своею любовью к Вам, к Вашей семье, ко всем толмачевцам, мы уже начинаем понимать, что такое христианская любовь. С Божией помощью и Вашими молитвами мы, бывшие некогда чужими, стали теперь близкими и родными между собой людьми.

Итак, приносим Вам, дорогой Батюшка, глубокую благодарность за Вашу любовь к нам, которой мы совсем не заслуживаем. Знаем, что недостаточна наша благодарность на словах, но как можем, как умеем всегда будем благодарить Вас и Бога, даровавшего нам такого духовного отца.

Грешные, но преданные Вам Ваши духовные дети». Далее следовали подписи.

Из своего угла я наблюдала за Батюшкой. Он точно застыл в своем кресле, мне показалось даже, что лицо его приняло как будто грустное выражение. Все толмачевцы также сидели неподвижно. Наконец, Ек. Вас. кончила чтение, но никто не пошевелился. Батюшка продолжал также молча сидеть в своем кресле и смотреть куда-то поверх наших голов. Наступила полная тишина. Наконец, Батюшка вздохнул глубоко, точно очнулся от забытья. «Спаси вас, Господи,— произнес он медленно и тихо.— Спаси вас, Господи, мои духовные детки, я тронут до глубины души, вы меня совсем уничтожили своей любовью». Слышно было по его голосу, что Батюшка был действительно глубоко тронут. В течение всего вечера он оставался таким же серьезным, немного грустным и молчаливым. Ему точно не хотелось говорить. И он, чтобы чем-нибудь занять своих гостей, достал свой альбом и показывал фотографии Зосимовой пустыни и старцев.

На другой день, как обычно, я пришла к обедне. После обедни, благословляя меня, Батюшка задержал мою руку в своей и сказал: «Останься на минутку, я должен сказать тебе несколько слов». «Так это ты автор адреса? — обратился ко мне Батюшка, когда я подошла к нему на клирос.— Знаешь, Верочка,— продолжал Батюшка,— этот адрес потряс меня до глубины души. Ведь здесь сказано все, больше уже нечего гово-

рить, всей моей деятельности здесь подведен итог, теперь осталось только написать надгробную эпитафию».

Никто не подозревал тогда, какими пророческими были эти слова Батюшки. Уже через год он был взят от нас и не вернулся он к своей деятельности, к своим духовным детям. Надгробной эпитафии не написано Батюшке, потому что нигде нет его могилы, но в сердцах его духовных детей память о нем жива, несмотря на пройденные годы. Я твердо верю, что и после его смерти не порвалась наша связь с Батюшкой, и он продолжает нас любить и заботиться о нас».

Я был очень огорчен разорением нашего храма. Оглушен им, но по своей духовной недоразвитости и по близости к происходящему я стал понимать всю огромность случившегося только постепенно, и тяжесть утраты с годами отнюдь не уменьшалась.

Еще надо сказать, что я, так же, как и Сережа, толмачевцами были по семейным условиям, по месту жительства, а не по избранию сердца. Я любил Толмачи, привык к ним, считал своими, но все же мое отношение к ним отличалось от того, что испытывали отец, мать, духовные дети отца.

Отвлекал меня от скорби в то время другой крутой поворот в моей судьбе: я устроился на курсы и затем на работу. Когда это произошло, я ощутил почву под ногами и был счастлив. И никто не мог сказать мне в эти дни, что я разменял последний год, отпущенный для общения с папой, что я должен дорожить, как бесценным сокровищем, каждым из оставшихся мне дней моей московской радостной и грустной юности, а я в конце 1929 г. уехал на работу в Ленинград.

В Москве же в это время сгущались тучи над головой нашей семьи. Сыпались угрозы выселить нас из Москвы. Такая угроза в то время, когда священнослужители были лишены всех гражданских прав, была вполне реальной. Тогда, по совету друзей, отец решил уехать из Толмачей на частную квартиру. Вскоре нашлась подходящая маленькая квартира в деревянном доме на Воробьевых горах, которые тогда считались окраиной. В январе 1930 г. наши родители с младшими детьми — Колей и Машей переехали туда. Библиотеку пришлось сложить в сарай.

В маленькой комнате нашей толмачевской квартиры остались старший сын Сережа, уже два года работавший на заводе, член профсоюза, что давало ему гражданские права, и Андрюша, окончивший семилетку и хотевший начать работать. Его взял на свое иждивение Сережа.

Вскоре репрессии коснулись толмачевцев: первой была арестована М. И. Михайлова — детский педагог за то, что она воздержалась от публичного одобрения смертного приговора «контрреволюционерам» на собрании в своем учреждении. В дальнейшем были арестованы Н. А. Рейн, А. А. Солодовников и другие толмачевцы.

Последний Ильин день прошел спокойно, в кругу друзей на Воробьевых горах. А в октябре папу уже арестовали. В Бутырской тюрьме на прогулке он в последний раз увидел своего младшего брата — Егора, бывшего морского офицера, служившего и арестованного в Севастополе. Через несколько дней после его ареста к дому подъехал грузовик и всю библиотеку увезли. О ее судьбе никаких сведений нет.

Осиротевшая мама, не имевшая средств к существованию, с малыми детьми вернулась в Толмачи в маленькую комнату старшего сына.

Когда нас лишили отца, толмачевцы не покинули нас. Мою осиротевшую мать окружили любовью, заботой, и она в какой-то степени заменила отца, стала для них Матушкой — поддерживая, утешая и наставляя.

До конца жизни, а за пол века ушли почти все, духовные дети отца оставались благими и верными. Вечная им память!

Глава XI. ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Воспоминания Е. Л. Четверухиной

Была весна 1932 года. Прошло уже полтора года моей разлуки с Батюшкой. В 1931 г. я никак не могла поехать к нему на свидание: умирала наша Машенька. Ездил к папе Сережа. После двухнедельного путешествия по Волге, Каме, Вишере он приехал к папе с большой посылкой как раз в день его ангела — 20 июля. Это было его первое в жизни и очень трудное путешествие. В ночь на 11-е июля Машенька скончалась. Я послала Батюшке телеграмму, и Сережа, приехав к папе, от него узнал о ее кончине.

Вернувшись домой, Сережа приехал к нам в Суханово, где мы тогда жили и сделал подробный и интереснейший доклад о своей поездке. Было чувство, точно мы встретили самого Батюшку. Господь призрел на это доброе дело Сережу и благословил его. Сколько радости доставило это свидание нашему многострадальному Батюшке на чужбине, а мы точно сами у него побывали. Я начала думать о своей поездке к нему, но раньше следующего лета не могла исполнить своего желания.

В тот год Пасха была поздняя, 18 апреля. На Пасхе мне передали, что с Красной Вишеры вернулась одна женщина и привезла мне записочку от Батюшки. 22 апреля я получила эту короткую, но очень содержательную записку. Батюшка настойчиво просил меня непременно к нему приехать. Его сердце, вероятно, предчувствовало, что свидание наше будет последним. Получив записку Батюшки, я бежала домой, от радости не чувствуя под собой ног, не верила, что поеду к моему дорогому Батюшке. Такой счастливой я себя сознавала, 6 мая

я начала готовить свой багаж. Купила разных вкусных вещей, да и духовные дети нанесли мне всякой всячины. Тронул меня владыка Варфоломей, который прислал мне на дорогу 50 рублей. На вокзал меня провожали многие близкие мои друзья. Помню, как все были веселы, как все по-христиански радовались за свою Матушку. Поезд на Пермь отходил вечером. Все стояли на платформе. Каждый хотел Батюшке что-нибудь сказать или спросить. Я старалась все хорошенько запомнить. А некоторые писали большие письма, которые мне надо было дорогой прочитать и подробно пересказать Батюшке их содержание.

Вечером 9 мая поезд привез меня на станцию Усолье—Березники. Мне помогли перенести вещи на пристань и там мне пришлось просидеть всю ночь на открытом воздухе в ожидании парохода. Была холодная ветреная погода, временами шел дождь и мокрый снег. Я не могла нигде притулиться, чтобы вздремнуть, и то садилась на свои вещи, то начинала ходить по пристани, чтобы согреться. Рано утром подошел пароход, все погрузились, и в шесть часов он отошел от пристани. Ровно через сутки — 11 мая мы прибыли на пристань «Красная Вишера». Я чувствовала себя почти счастливой.

Мне было как-то весело, когда в комендатуре стали просматривать мои вещи. У меня был с собой пузырек с крещенской водой для Батюшки, были и другие святыни. О святой воде я сказала: «Для вас это простая вода, а для меня она — святая, и я прошу вас ее мне оставить, она для меня — лекарство». Мне ее оставили. Евангелие у меня отобрали, как я ни просила его мне отдать, но обещали, что вернут. Потом взяли у меня деньги, дали расписку, и, наконец, проводили в «Дом свиданий». Мне указали на деревянную узкую койку у окна, на которой лежал тонкий соломенный тюфяк. В комендатуре я написала заявление о предоставлении свидания с мужем. И дали мне свидание на четыре дня, так называемое «общее», т. е. по несколько часов в день, без ночевки, тогда как другим позволяли и ночевать. Но мой Батюшка был перегружен работой: он был табельщиком на пристани, откуда гнали по реке лес.

В этот первый день моему Батюшке не было передано разрешение на свидание со мной, и он не пришел. На следующий день я снова стала ждать его. Я ходила около дома свиданий и все молилась, вглядываясь вдаль и ожидая его прихода, но тщетно. Устав от ходьбы, я приходила к своей койке, садилась для отдыха на несколько минут и снова начинала ходить взад и вперед. И вот, наконец, когда я, усталая, присела на свою койку часов в 5 вечера, вдруг отворилась дверь и в ней показалась высокая худощавая фигура в желто-коричневом пальто — мой самый дорогой друг, мой Батюшка. Это было наше первое свидание 12 мая 1932 года.

Я услышала его слова: «Тут Четверухина?» Стрелой бросилась я к нему навстречу со словами «Христос воскресе» и просила меня благословить. Батюшка отказался это сделать (тут были мои соседки — посторонние для нас люди), сказав, что он тут только заключенный. Как горько прозвучали его слова, как больно сжалось от них мое сердце. Я обняла его за шею, и мы поцеловались. Показав на свою койку, я просила Батюшку сесть. Он, как был в своем поношенном, не по голове картузе сел на койку, а я присела к столу на табуретку у окна. Он сейчас же стал спрашивать о детях. Соседки с любопытством его рассматривали и некоторое время очень нас стесняли своим присутствием. Наконец, обе удалились, за что мы были им очень благодарны. Когда они ушли, Батюшка сказал мне, что теперь он может меня благословить и пил чай, кушал жареные сухари, а я, слушая его горький рассказ, не могла и глотка чаю проглотить — чай у меня сделался холодный — не до него мне было в тот вечер, когда я наконец получила возможность сидеть возле моего Батюшки и слушать его, и смотреть на его исстрадавшееся и сильно похудевшее лицо. Он был очень переутомлен. Ему приходилось с шести часов утра уже выходить на работу в свою хибарку на пристани, в восьмом часу к нему уже шли десятские и кончал он работу только в 10—11 часов вечера.

Глаза у Батюшки были воспалены от недостатка сна и от пыли, попадавшей в них по причине сильнейших ветров, а берег Вишеры покрыт мелким песком, и лицо его от этого было красное, обветренное. В продолжение шести вечеров (по просьбе Батюшки нам были прибавлены два дня свиданий) Батюшка рассказал мне о себе многое. Каждый день он вспоминал что-нибудь недосказанное и пополнял свою повесть. Если я забыла что-нибудь из рассказанного мне, простите мою немощь. Ведь с той поры прошло 15 лет.

Я буду писать в том порядке, в котором он рассказывал, придерживаясь своих записей и восполняя его рассказы по памяти. Слава Богу за все, что я видела, потому что я видела сама все то, о чем так много слыхала от Батюшки. И несмотря на то, что я опять разлучена с ним по воле Божией, душа моя преисполнена любви, благодарности к Богу и глубочайшего мира.

Слава Богу за все!

Живя с Батюшкой более двадцати лет, я уже знала все его привычки, часто читала его мысли, угадывала его желания, поэтому он, бывало, только начнет что-нибудь говорить, а я за него докончу. И на Вишере после полуторагодовой разлуки мне казалось, что мы с ним и не разлучались. Я, как и раньше, с полуслова его понимала. Это меня очень радовало. Вспоминались слова из канона на день св. Пятидесятницы: «Разлучения вам не будет, други...» И теперь, когда Батюшка, скоро

15 лет, как отошел к Господу, я не чувствую с ним разлуки, я точно продолжаю жить одной жизнью с ним. Я часто слышу внутри себя его ободряющий голос, когда переживаю какие-нибудь жизненные трудности: «Ничего, мамаша, ты у меня молодец». Так он мне, бывало, говаривал, живя со мной, и легче мне становится от этого. А если что я делаю не так, как надо, как хотел бы он, вижу во сне, что он где-то далеко от меня, и больно сжимается от этого сознания мое сердце и во сне.

Батюшка говорил мне, что чувствует себя исколоченным, но не искалеченным. Прежде он плохо помнил наизусть благодарственные тропари, теперь же он их хорошо знает. Духовником его на Вишере был архимандрит Донского монастыря о. Архип. Исповедываться удавалось в совсем необычной обстановке: колют вместе дрова, например, и Батюшка в это время исповедует свои грехи, а по окончании исповеди о. архимандрит положит на его голову свою руку и прочитает разрешительную молитву. А молиться, класть на себя крестное знамение и причащаться Святых Таин можно было только лежа на наре, закутавшись с головой одеялом. С большой любовью вспоминал Батюшка об о. Гаврииле, о его прямоте и доброте. Однажды, когда было Прощеное воскресенье, не было у Батюшки ничего скоромного, а хотелось по православному обычаю заговеться. Грустный ложился Батюшка спать в тот вечер. И вдруг чья-то рука просовывает к нему под одеяло две сдобные лепешки. Это добрый о. Гавриил получил посылку и вспомнил о своем друге и захотел его утешить. Говорил Батюшка и об окружавших его в последней роте добрых людях, приводя слова из Послания: «Друг друга честию больше себя творяще». Мыть полы должны были все по очереди, но соседи, уважая его, освободили Батюшку от мытья полов — обязанностью его было только посыпать пол опилками и носить горячую воду для мытья (10 ведер в день). Вот как вспоминал Батюшка первую ночь после ареста, когда его привезли в Бутырскую тюрьму. В камере или «собачнике», как ее называли, было столько людей, что негде было и прилечь на полу. Кто-то посоветовал Батюшке лечь под нару. Залез туда Батюшка, а пол-то весь заплеван. И вспомнились Батюшке так любившие его духовные дети. Чтобы они сказали, если бы увидали своего Батюшку в таком унижении. И заплакал мой Батюшка при таком воспоминании. Потом в Бутырской тюрьме нашелся добрый юноша — Андрюша Штерн: он уступил Батюшке свое место на верхней наре, но оно было очень узко — всего одна доска, да еще около параши. Шпана в тюрьме его дочиста обкрадывала.

Первое время по приезде на Вишеру Батюшка был определен на «общие» работы, т. е. на тяжелые физические. Сначала приходилось в сорокоградусный мороз копать землю, которая едва поддавалась только лому, затем пилить бревна, потом выгребать из-под лесопильной машины опилки, а для этого

то и дело нагибаться к полу. И эта последняя работа настолько утомляла Батюшку, что однажды он в изнеможении упал на опилки и уже не мог сам подняться. Его отправили в больницу, где он пробыл более двух недель. Едва только выписали Батюшку из больницы, он должен был идти в командировку в Буланово, за 54 километра от Вишеры. А силы его еще не восстановились после болезни. Начальство, отправляя заключенных работать, обещало, что они пойдут с отдыхом, проходя лишь по семнадцать километров в день. Но на деле вышло иное. Им пришлось сделать этот тяжелый переход в продолжение одних суток. Была еще зима, и можно себе представить, что они, бедные, испытали, идя так долго по глубокому снегу в лесу. Один так выразился: «Я всегда любил лес, а теперь я его ненавижу» и погрозился ему кулаком. Под конец пути Батюшка, совершенно обессиленный, падал на снег через каждые пять шагов, других же тащили под руки конвоиры. Наконец поздно ночью доплелись до Буланова. Для ночлега отвели пустую нетопленную избу с выбитыми стеклами. Лег мой Батюшка на пол, и нечего ему было подложить под голову, нашелся только какой-то сломаный ящик. Ныло все тело, и холод сковывал все члены. Какой же сон мог быть у него! Пришло утро. Погнали их пилить хвойный лес. Батюшка не знал, как и взяться за пилу: никогда он не был на такой работе. Снег был в лесу по грудь, и прежде чем начать пилить деревья, надо было его притоптать. Батюшка стал объяснять начальнику, что он не может выполнять такую работу, прося дать ему канцелярскую. В ответ на это, тот стал говорить ему язвительно: «Ты опять „филонишь“ (увиливаешь). Я тебя еще на Усолье заметил. Ты и там все от работы отлынивал». А Батюшка мой на Усолье-то и не был никогда, только мимо проходил. И пришлось ему, моему дорогому, покориться, и начал он вместе с другими валить лес. И пилил он бревна до тех пор, пока не сломалась пила. Тут снова на него посыпались ругательства. Однако вскоре приехал другой начальник. Нужно было вести отчетность. Увидев Батюшку, он его позвал: «Эй ты, очкастый, грамоте учился?» — «Учился».— «Арихметику знаешь? Ну будешь табельщиком». На Страстной неделе приехало новое начальство и велело написать полный отчет о проделанной работе. Был Великий Пяток. Всю ночь на Великую Субботу составлял Батюшка отчет, а приехавший начальник крепко спал. Тут же в избе. И вспоминал Батюшка свой родной храм, стоящую посреди него св. Плащаницу и то, что мы, его родные, его присные молимся вокруг лежащего во гробе Спасителя и поем над ним погребальные песни. Не без воли Божией пришлось и нашему Батюшке не спать в эту святую ночь. Только к утру отчет этот был Батюшкой окончен, а он был очень велик. Батюшка положил его на столе около спящего начальника, а сам где-то прикорнул и, измученный, уснул.

К 1-му мая Батюшка вместе с другими заключенными вернулся на Вишеру. Вскоре же послали Батюшку на общие, очень тяжелые работы. Надо было, выполняя большой «урок», с 7 ч. утра до 11 вечера таскать по две толстых доски с берега на баржу. Это делали по два заключенных. Чтобы успеть выполнить вовремя «урок», на берег подымались чуть не бегом. К концу дня все плечи были до крови натерты, все тело болело. Но в первый день «урок» был выполнен на все 100%. Однако на утро, когда снова послали их на ту же работу, они сговорились таскать по одной доске — уж очень болели израненные плечи. К 11 часам вечера было выполнено только 75%. Пришло начальство и стало приказывать докончить урок, а они сели на пенечки и целый час спорили и торговались. Однако, пришлось уступить и доканчивать недоделанное ночью. Только в 3 часа ночи кончили «урок», а в 5 часов надо было снова вставать на ту же работу. У Батюшки были в эту ночь необычайно тяжелые религиозные переживания. Ему казалось, что Бог его забыл, оставил. И в глубокой тоске он возопил к Господу: «Господи, Пресвятая Богородице, святитель Николай, я всегда Вам молился, и Вы мне помогали, а теперь вы видите, что я совсем изнемог, что я готов умереть на этой непосильной работе, и вы меня забыли. Ну что же. Или мне больше уж вас не просить ни о чем?»— Лег на нары Батюшка, спать не мог от сильной боли во всем теле, и горько заплакал. Но к утру вдруг душа снова замолилась, смягчилось его сердце, и снова явилась обычная преданность и вера в Промысел Божий. «Нет, Господи,— шептал он,— хотя бы я умирал в моих страданиях, я никогда не перестану молиться и верить тебе». И тут произошло чудо. Когда в 6 ч. утра все пошли на перекличку, чтобы идти на работу, и Батюшка ждал своей фамилии, вдруг, читая фамилию «Четверухин», начальник запнулся и вспомнил, что Батюшку требовали в УРЧ для какого-то дела. Оказалось, что Батюшка понадобился для написания отчета о работе в Буланове. Так как было очень трудно восстановить все факты, то потребовалось на это несколько дней. Таким образом, Господь избавил Батюшку от непосильной для него работы по погрузке досок на баржи. И вот по Промыслу Божию трудная для него командировка в Буланово принесла ему и пользу: избавила его от тяжких трудов. Слава Богу за все.

Трудно мне сейчас отчетливо вспомнить, в какой день что мне говорил Батюшка. Он то одно вспоминал, то другое. Но, конечно, сначала он мне говорил о самых тяжелых переживаниях, а напоследок уже о более легких, незначительных, но я старалась все запомнить. Из первого дня, или, вернее, вечера, мне особенно ярко запомнилось наше прощание и разговор. В то время на Вишере были белые ночи. Часов около 11 вечера я вышла из дома свиданий, чтобы проводить моего Батюшку. Было ясное безоблачное светлое небо, на далеком горизонте

чуть алела заря. Стоя во весь свой высокий рост на фоне этого светлого неба, Батюшка мне говорил, отчеканивая каждое слово: «Ты в своих письмах часто занимаешься совершенно бесполезным занятием: считаешь дни, сколько прошло со дня нашей разлуки и сколько еще осталось до дня моего возвращения домой. Я этого не жду. Я уверен, сказал Батюшка, что в вечности мы будем с тобой вместе, а на земле нет. Мне, вероятно, дадут еще 3 года. Здесь я прохожу вторую Духовную Академию, без которой меня не пустили бы в Царство Небесное. Каждый день я жду смерти и готовлюсь к ней». Батюшка говорил все это совершенно спокойно, но каждое его слово точно молотом тяжелым било по моему наболевшему сердцу, но я не возражала, и все это выслушала молча и только крепко запомнила его слова.

После подачи отчета за Батюшку стал хлопотать протоиерей о. Гирский, тоже заключенный, но уже зарекомендовавший себя перед начальством. Он просил определить Батюшку на комбинат «Вишхимз», и хлопоты эти увенчались успехом. Батюшка был назначен санитаром в больнице, но это была только одна из его многочисленных обязанностей. Он был и делопроизводитель, и регистратор, и еще много всяких обязанностей пришлось ему выполнять. Пришлось моему Батюшке в продолжение почти восьми месяцев трудиться часто по шестнадцати часов в день без выходных. Одно только было хорошо: ему дали свой отдельный кабинет, где была печка, на которой он мог себе вскипятить воду для чая и погреться. Да и приятно было быть одному без народа. Все, начиная от самого главного начальника, врачи, сестры и санитары, оценили Батюшку, как усерднейшего работника и как прекрасного человека, и полюбили его. Но кому-то это было неприятно. На Батюшку наклеветали, его арестовали и посадили в изолятор. Помещение было неотапливаемое, с выбитыми стеклами. Бегали, не стесняясь, крысы. Батюшке не говорили, в чем он виноват, а когда за него кто-то хотел попросить, ему ответили, что Батюшка — величайший государственный преступник. В первый день в изоляторе, куда посадили Батюшку, была только одна шпана, и было очень тяжело, но на следующий день его перевели в особое, изолированное от других помещение, и тут Батюшка ожил и был даже счастлив. Он мог тут без боязни положить на себя крестное знамение и, подобно Давиду, скачущему перед Ковчегом Завета, Батюшка скакал от духовной радости. Тем временем началось следствие. Стали поочередно вызывать из больницы Вишхимза весь медперсонал и младший штат служащих и допрашивать о нем. И все, как один человек, давали самые лучшие отзывы о Батюшке, так что изолятор послужил лишь на пользу Батюшке для вящей славы Божией и на посрамление его врагов.

В Вишхимзе вместе с Батюшкой работал художник Кирса-

нов. Он так привязался и полюбил Батюшку, что написал с него большой портрет, жаль только, что он не успел его отделать — это было как раз перед изолятором, за три дня. Этот портрет Батюшка с позволения начальника отдал мне со словами: «Возьми домой. Будете на него смотреть и меня вспоминать». Он просил оправить его в золотую раму, как рекомендовал Кирсанов. Я так и сделала и, глядя на него, всегда вспоминаю его слова, сказанные таким грустным голосом.

Батюшка просидел в изоляторе (это было в конце января 1932 года) всего 20 дней. По его словам, в изоляторе он обрел «мир души». «Обрящут покой только те, кто научился кротости и смирению». И Батюшка научился этим добродетелям и обрел мир и покой своей душе. Когда я шла с Батюшкой или по коридору в доме свиданий или около этого дома, все проходившие почтительно сторонились при виде Батюшки — было заметно, что его уважали все, кто только его знал. Меня же многие называли «матушкой», даже из начальников, конечно, надо думать, что ради почтения к Батюшке.

В Вишхимзе было очень заметно отсутствие замечательного усерднейшего работника, каким был мой Батюшка и которому можно было доверить любую запутанную и сложную бумагу, любой отчет. Он все выполнит, как следует, и заслужит своей работой похвалу и одобрение начальства. И стали из Вишхимза просить вернуть Батюшку назад, несколько раз просили, но его не пустили. Вместо него назначен был человек совсем другого сорта. Вел он себя по-барски, и кончал работать в 5 ч. вечера. Таким образом, отчет за январь месяц был подан только в мае. И вообще, говорил мне Батюшка, после его ухода из Вишхимза, его работу выполняли восемь человек, а он один тянул эту лямку в продолжение 8-ми месяцев. Где же найдешь такого другого работника?

Вскоре многих заключенных стали переводить на общие работы и только как исключительного работника, по просьбе помощника начальника Б. В. Р.— Николая Васильевича Виссарионова, Батюшку назначили главным табельщиком. Но это была такая ответственная работа, что или пан, или пропал, как говорил мне Батюшка.

Вот во время выполнения этой-то работы я и приехала на Вишеру. Батюшка работал днем до 11 ч. вечера, а с 6 ч. вечера приходил его помощник и работал всю ночь до 6-ти часов утра — такая была горячая пора сплава леса по реке. Батюшка говорил мне, что это дело подходит к концу, и его просят уже в два места. Недаром, когда он подал заявление о свидании со мной, начальник написал о нем характеристику, как об исключительно добросовестном работнике. Между прочим, Батюшка болезненно вспоминал, что когда он шел вместе с заключенными из изолятора, а ему навстречу шел какой-то бывший его друг, и не поклонился этот человек Батюшке, а отвер-

нулся от него. Напротив, другой, некто Костя В. долго, с любовью кланялся ему, что очень тронуло Батюшку. Вот яркие примеры и трусости, и малодушия, и мужества, и любви, и великодушия.

Пришлось мне рассказать Батюшке о бывшем у меня в конце 1931 г. и в начале 1932 года его знакомом Букине, инженере, которому я доверилась и отдала для Батюшки сначала деньги, а во второй его приезд и деньги и дорогую посылку, которую он обещал с кем-то из знакомых передать Батюшке. Ничего этого мой Батюшка не получил. Естественно, он подосадовал на этот нехороший поступок, но попутно вспомнил, как этот Букин доставал ему горячую воду и вообще облегчал тяжелое путешествие, когда вместе с Батюшкой шел на Вишеру в сорокаградусный мороз в декабре 1930 г.

Когда я гостила на Вишере, Батюшка уже пользовался хорошим столом как штурмовик, и мог даже приносить мне кое-что из своих продуктов: хлеб, селедку, и даже банку с мясными консервами. Приходил он ко мне в пятом часу вечера, я его ждала с обедом, мы вместе с ним кушали, пили чай и затем гуляли вокруг дома или по берегу Вишеры, или сидели около дома на скамейке. Я ему рассказывала о его родных и духовных детях, передала ему все их просьбы. С какой отеческой любовью вспоминал Батюшка о каждом своем детище, каждому просил передать его благословение и низкий поклон. Был очень тронут вниманием Владыки Варфоломея и велел мне съездить и поблагодарить его. Большим и нежным другом Батюшки был Миша Асперов, но у него была последняя степень чахотки, и его отправили в Темниковскую пустынь доживать свой век. Батюшка говорил мне, что он видел в ссылке много унижений, перенес много обид, тяжелых работ, слышал клевету, насмешки и параллельно все время видел уважение от других, внимание, любовь и нежную заботу, как от единомышленников, так и от «шпаны» и от начальства. И даже так бывало, что от одного и того же человека в разное время он терпел обиды, а затем проявление уважения.

Как-то гуляя с Батюшкой по берегу Вишеры, я подняла с земли сосновую щепку. «Я возьму на память о твоем здесь пребывании и о твоей тяжелой работе»,— сказала я Батюшке. Точно кусочек его гроба я привезла с собой в Москву. И надписала я на этой щепке: «На память о моем свидании с Батюшкой в мае от 12—18 1932 года на Вишере».

Все пережитое, все глубоко скорбное и тяжелое сделало Батюшку еще более религиозным. «Нет Его краше, нет Его милее»,— говорил он мне о Господе Иисусе Христе.

О детях духовных он еще говорил, что всех он по-прежнему любит, что все они по-прежнему живут в его сердце. Всех сердечно благодарит и особенно за любовь ко мне, к его матушке. Он просил каждому отдельно сказать, что он его помнит, лю-

бит и благодарит. Некоторым духовным детям Батюшка велел со всеми своими нуждами обращаться ко мне, а о Верочке (Бородич) сказал, что если даже он и вернется домой, то будет рад, если она будет и при нем моей духовной дочерью.

Конечно, у него было предчувствие, что домой он уже не вернется. Когда я как-то заговорила о будущем, если все же он вернется домой, Батюшка высказал такое свое желание: «Конечно, в Москве мне уже не позволят жить. Ну что же, мы с тобой поселимся где-нибудь в небольшом городке, и сыновья будут нам понемногу присылать каждый месяц. Авось и прокормимся мы с тобой. Господь не оставит нас». Батюшка говорил, что теперь он стал гораздо ближе к народу, больше стал понимать людей и если он вернется, то будет гораздо снисходительнее к ним. Я замечала, когда мы с ним гуляли или сидели на скамейке, что, как только Батюшка увидит издали кого-нибудь из своих знакомых, он сейчас же начнет улыбаться, снимать шапку и приветливо кланяться проходившим. И все его знакомые так же его ласково приветствовали. Как-то он указал мне доктора С. А. Никитина и назвал его святым человеком. Этот врач был раньше председателем приходского Совета в храме св. Николая в Кленниках, где настоятельствовал о. Алексий Мечев*. И привелось моему Батюшке последнее время перед кончиной работать под начальством этого врача, быть ему помощником. С. А. Никитин потом был у меня и рассказал о своем последнем разговоре с моим Батюшкой накануне его трагической кончины. Батюшка, прощаясь с ним, сказал: «Прохор Мосихин (преп. Серафим) так говорил: „Стяжи мир души, и около тебя тысячи спасутся". Я тут стяжал этот мир души и если я хоть маленький кусочек этого мира привезу с собой в Москву, то и тогда я буду самым счастливым человеком. Я многого лишился в жизни. И уже не страшусь никаких потерь, я готов каждый день умереть. Я люблю Господа и за Него я готов, хоть живой на костер». На другой день слова эти сбылись. Батюшка сгорел при пожаре.

В одну из последних встреч он вспомнил, как в первую зиму на Рождество ему было особенно тяжело от того, что затеяли у них в роте устроить антирелигиозный диспут. Батюшка нарочно лег пораньше на свою верхнюю нару, чтобы ничего не слышать и покрылся с головой одеялом. И вдруг кто-то вспомнил о нем. «Тут есть поп, пусть он выступит на нашем диспуте». Батюшка сказался больным и решительно отказался выступать в этом обществе безбожников. Один Господь знает, что переживало его сердце, так горячо любящее Господа, слыша грешные словопрения.

---

* Сергей Алексеевич Никитин (1895—1963 г.). Вскоре после освобождения принял постриг с именем Стефан. После войны рукоположен во епископа. Епископ Калужский Стефан умер во время церковной службы перед Престолом. *(Прим. ред.)*

Батюшка говорил, что благодаря физической работе, мускулы на руках стали крепкие и даже сердце его стало лучше. Он может пробежать и не ощущает одышки. Друзья хлопотали, чтобы Батюшку перевели в наиболее культурную 64-ю роту, но воспитатель роты отнесся к нему очень грубо, он говорил, что тут находятся только высококвалифицированные работники и что «санитаришке» тут не место. Только кто-то из добрых людей успокоил Батюшку, сказав, чтобы он не обращал на него внимания и оставался бы здесь. Слава Богу, отношение начальства понемногу смягчилось, и воспитатель даже полюбил Батюшку.

Батюшка говорил, что Вишеру можно рассматривать с трех сторон: 1) отрицательная сторона; шпана, пьянство, обиды, насилия, бесчеловечное отношение, побои... 2) целый сонм самых прекрасных людей и 3) это то, как все это переживалось, отражалось и преломлялось в Батюшке. И в результате он всегда чувствовал на себе милость и любовь Божию, дивный Его Промысел и потому сам делался ближе к Богу и начинал любить Его все больше и больше. Никакой внешней религиозности он проявить не мог, но внутри, в душе, он стал еще более религиозным, чем был раньше. Он говорил мне, что живя тут на Вишере, он себя чувствует несколько подобным живущим в монастыре. «Ведь тут как раз упражняешься в тех добродетелях, которые требуются от монаха, когда он принимает постриг: полное отречение от своей воли, нестяжание и целомудрие. И действительно, на Вишере Батюшка проходил новую Духовную Академию, более совершенную, чем та, которую он окончил перед принятием сана священника.

Батюшка просил детей писать ему ежемесячно, Андрюшу непременно бросить курить — это скверная и вредная привычка. Очень был рад, что дети откровенны со мной и было бы хорошо, если бы Андрюша ничего не делал бы без совета мамы. Колечку папа вспоминал с особенной любовью. О прошлогоднем приезде Сережи к нему Батюшка вспоминал с большим удовольствием. Это свидание очень сблизило его с Сережей, они как-то лучше поняли и еще больше полюбили друг друга. А мой приезд Батюшка сравнивал с целебным бальзамом, с вином и елеем на его измученную душу. Я заметила у него в лице резкую перемену: когда я приехала, выражение его лица было горькое, а когда уезжала, оно было светлое, мирное, довольное.

Много мне рассказывал Батюшка о своем житье-бытье, да всего и не вспомнишь. Когда он работал в Вишхимзе, ему пришлось однажды послужить одной туберкулезной больной. Она была очень плоха, лежала в больнице и захотелось ей перед кончиной исповедоваться и причаститься Святых Таин Христовых. Но как это сделать? Она — заключенная. Батюшка помог ей. Он пришел к ней, как санитар, долго с нею беседо-

вал, исповедал ее и даже причастил Святых Таин. Нельзя передать того счастья, которое испытывала эта страдалица. Она вскоре мирно скончалась, и родным удалось над ее могилой поставить крест. Там же был похоронен и иеромонах Антоний (Тьевар), бывший ученик проф. И. В. Попова. Обе эти могилы украшались с любовью.

17/30 мая Батюшка был у меня в последний раз. И хотя мы с ним обо всем уже переговорили и простились, ему хотелось придти на следующий день на пристань, чтобы увидеть меня еще раз. Рано утром нам велено было уложить вещи и идти. Однако перед отбытием снова надо было пойти в комендатуру для осмотра вещей. День был ветреный, холодный. Я то ходила по пристани, то уходила внутрь помещения — погреться и все ждала моего Батюшку. Он не приходил. Я боялась, что больше уже не увижу его. Часов в 6 вечера пришел пароход, началась посадка и тут вдруг, когда я уже с вещами поднималась по мостикам на пароход, увидела я знакомую мне фигуру Батюшки. Он шел по берегу. Забывши все, я бросила на мостки вещи и побежала к нему навстречу. Я забыла, что мой Батюшка уже не имел права на свидание со мной сегодня и, обвив его шею руками, поцеловала его, говоря: «Я все-таки поцелую тебя в последний раз. Прощай, мой дорогой». И тут же оторвалась от него и так же быстро побежала обратно к вещам. На берегу стоял кто-то из начальников, видели мое прощание и, как я узнала после, дали ему дня на три изолятор. Но я этого не знала тогда. Я простилась с ним... до будущей Вечной Жизни.

Все же по его просьбе Батюшке разрешили остаться на берегу до отхода парохода. Я устроилась в каюте, кому-то из соседок поручила присмотреть за моим багажом, а сама до последней возможности стояла на борту парохода и смотрела на Батюшку. Изредка мы с ним переговаривались. Я его ободряла, что его скоро отпустят, что он вернется домой. Он был совершенно спокоен, лицо было мирное, совсем не такое, как когда я его увидела в первый раз. Наконец раздался резкий продолжительный гудок, сняли канаты, пароход, чуть колыхаясь, стал тихонько отчаливать от пристани. Я крикнула моему Батюшке: «Уповай на Господа, уповающего же на Господа милость обыдет...» Больше уже нельзя было ничего ему сказать: он не услышал бы. Все быстрее и быстрее шел наш пароход, расстояние между мною и Батюшкой становилось все больше, а он делался все меньше. Вот уже приходилось напрягать зрение, чтобы ясно видеть черты его лица, его фигуру в желтом пальто. Наконец, уже она стала совсем маленькой. Вижу, что Батюшка повернул от пристани, вошел на берег и его больше не стало видно. Я перекрестилась сама, перекрестила издали его и, сказав: «Слава Богу за все», вернулась к себе в каюту. Я не плакала. Глубокий мир сошел на меня

здесь, на Красной Вишере. Я все отлично сознавала, но слез у меня не было, а была полная преданность воле Божией и глубокая вера в Его Св. Промысл. Я вскоре же достала из сумки приготовленную чистую тетрадь и стала записывать в нее все, что пережила, что видела и что слышала.

Расскажу только о том, что я пережила, проезжая мимо моей родины — г. Ярославля. Мимо него мы должны были ехать ночью, часов в 12. Мне хотелось хоть через окно увидать этот родной мне город, о котором так много рассказывала моя мама. Долго я боролась со сном, но не выдержала и заснула часов в 11 вечера. И увидала во сне, что наш поезд замедляет ход и едет по мосту через широкую реку, мимо ярко освещенных улиц. Я спросила кого-то из пассажиров, что это за город и мне ответили: «Ярославль». Едва остановился поезд, я соскочила и пошла по улице. Это все мне приснилось. И вижу: стоит большая карета и шестерка лошадей. Точно как у нас в Москве возили в такой по городу Иверскую икону Божией Матери. Я кого-то спросила: «Кого возят в этой карете?» И мне пояснили, что в Ярославле особенно чтится икона Знамения Божией Матери, как чудотворная, вот ее-то и возят по домам. И вдруг я увидела очень близко перед собой на воздухе мою родную иконочку — тоже Знамение Божией Матери, которой благословил меня мой крестный отец после Таинства Святого Крещения, положив ее ко мне на грудь. Я тотчас же проснулась и, вскочив на ноги, подбежала к окну. Поезд замедлил ход, ехал по мосту, видны были ярко освещенные улицы. Все, как во сне. Это и был Ярославль, моя родина. Вспомнился мне только что видимый мною сон и поняла я, что Царица Небесная снова берет меня под Свой дивный Покров, Она не забыла меня и не оставит особенно теперь, когда я снова в разлуке с моим мужем. Покров и помощь Божией Матери я постоянно чувствую на себе и на моих детях и внуках. Она — верная наша Покровительница, Она особенно любит и жалеет всех вдов и сирот.

Все это было пятнадцать лет тому назад. Много воды утекло за эти годы, много пришлось пережить горя, потерять мужа, сына... но не оставляет меня Своей помощью Матерь Божия и, верю, не оставит до конца. Она даст мне силы, бодрость духа, она дает мне пищу и духовную, и материальную. И вот, живу я уже 64-й год на свете.

Буди имя Господне благословенно от ныне и до века. Аминь.

* * *
* *

Отец с мамой мечтали, что через год он освободится, и они поселятся где-нибудь вне запретной стокилометровой зоны вокруг Москвы. Он сможет видеть своих детей, а потом и внуков.

Эти мечты не могли осуществиться! — В полученной недавно справке о реабилитации отца * было сказано, что 20-го марта 1933 г., т. е. посмертно, он был приговорен вторично к трем годам ссылки в Северный край, за Полярный круг. Следовательно, если бы он пошел в конце 1933 г. за справкой об освобождении, то получил бы новый приговор о высылке в более тяжелые условия полярного Севера.

Но Бог судил иначе. Избавил его от новых тяжелейших испытаний, послав ему скорую смерть.

Слава Богу за все!

Глава XII. ПОРТРЕТ

Приехал я в Москву на несколько дней только в мае 1936 года. В 1936 году меня арестовали. Затем был суд, высылка на Север на шесть лет и начались годы разлуки, унижений и страданий.

После освобождения я был в Москве в 1949 году только проездом и смог побыть в Толмачах два дня.

Все было так и не так, как шестнадцать лет назад. Был согрет солнцем тихий замоскворецкий переулок. Над мостовой протягивали ветви могучие тополя и в них звенели воробьи. Дремали столетние особнячки. Правда, двух-трех не сохранилось, и на их месте зеленели невысокие деревья. Около обезглавленной церкви стоял наш красивый кирпичный дом.

За облупившейся дверью глаз привычно метнулся в ящик для писем, а в темном коридорчике ноги сами нащупали три ступеньки. Наверх вела желтая, еще более стертая лестница. В маминой комнате в углу стоял киот, наполненный иконами, перед которыми учили молиться в детстве, и горела зеленая неугасимая лампада. На подпертом ящиками папином письменном столе, на окне, полу все так же лежали старые книги, на стенах висели потускневшие картины, а над потемневшей фисгармонией — папин портрет. В буфете знакомо дребезжала посуда и мама поила нас чаем из треснутых чашечек. Все было то же — и не то же.

Приехал я не один, а с худенькой, истомленной тревогами и дорожной усталостью женой и маленьким, бледным до синевы, сыном, которому бабушка припасла целый мешок некрашеных чурочек.

Бабушка — моя мать — стала совсем маленькой. По худеньким плечикам, сгорбившейся спине и морщинам без слов угадывалось, как жила она эти годы. А в по-прежнему ясных глазах читалось, насколько изменился я сам. И хотелось без конца гладить и целовать ее когда-то мягкие, а теперь шершавые руки.

---

* Справка Прокуратуры Союза ССР о реабилитации И. Н. Четверухина от 12.06.1990 г. № 10/А-11096 (11096). *(Прим. ред.)*

В комнате слышались мне давно отзвучавшие голоса, и за окном — шаги давно переставших шагать людей. И в душе вместо мира было смятенье...

Я был дома, но это не мой дом. Любой милиционер может заставить меня начать все сначала из-за пометки в паспорте. И я так давно не был дома, а через день снова не буду дома. Совсем нет у меня дома, так как не могу я дать святое имя «дом» лачуге за Полярным кругом, где приходится ютиться, видя в окно сторожевые вышки и колючую проволоку.

Меня окружали родные предметы, я мог касаться их. Из окна виделись знакомые крыши, деревья, золотые маковки, что так часто вспоминались. Но что-то заслоняло, что-то отделяло от этого, как если бы я еще не возвращался.

Радостно, но и непереносимо было ощущать, что переулочек, дом, комната продолжали существовать тогда, когда мир состоял из барака и зоны. И что жизнь моя, если это можно назвать жизнью, текла так чудовищно несообразно с точки зрения комнаты, а этой комнаты — неправдоподобно с точки зрения барака. Угнетало сознание, что в дни, когда рядом с этим уголком рвались бомбы, сметая дома, мать оставалась одна в опустевшей квартире с выбитыми стеклами и дежурила на крыше, а я даже не знал об этом, а если бы знал, был бессилен помочь. Все это удаляло бывшие под рукой предметы, показывало их как бы сквозь перевернутый бинокль. От находившегося здесь исходил аромат дней, прожитых без меня. Я принес резкие запахи дней, прожитых там. И делалось душно. Между нами воздвигалась стенка, прозрачная, но упругая, как бы сетка из проволоки. Я всюду натыкался на эту сетку.

Лишь один предмет в комнате не был отгорожен от моей души — папин портрет, висевший над фисгармонией. Портрет привезла мама 17 лет назад, после свидания с отцом, за полгода до его гибели. Он был написан товарищем отца по заключению, художником Кирсановым, не закончен и произвел на меня в то время очень тяжелое впечатление. Именно так папу я себе не представлял. В моей памяти был он полным, представительным, в просторной священнической одежде и с крестом на груди. К нему шла негустая рыжеватая борода, и нельзя было представить отца без длинных легких волос. Сквозь толстые очки смотрели добрые, умные, спокойные глаза.

На портрете был изображен худой, бритый, коротко остриженный человек, одетый в синюю вязаную кофту и нелепое желтое пальто. Взгляд близоруких глаз был напряженно-сосредоточенный, будто желал передать что-то очень важное. Портрет был написан на картоне и оправлен в узкую позолоченную рамку. Теперь краски пожухли, картон покоробился, рамка почернела, и портрет не мог служить украшением комнаты. Но, глядя на него, я чувствовал, что он для меня дороже прочих папиных портретов. Я понял этот портрет.

6 Зак. 77

Папа, мой папа. Незабвенный, самый чудный человек, которого я знал. Благословил ты меня в дорогу, когда был еще дома, и не встретились мы больше на земле. Не я проводил тебя, не я ездил в твою дальнюю темницу. Не то, чтобы завидую брату, скорее уважаю его и не уважаю себя, что не собрался. А потом стало поздно. Затерялась, затопталась казенная могилка, куда чужие руки положили останки твои, привязав к ним бирку. Не могу поплакать на ней.

Ушел — и мне показалось, что не смогу без тебя. Пришлось собирать по крохам, что ты щедро давал, а я небрежно терял. И даже это оказалось богатством. Может быть, из-за того, что не видел я тебя в гробу, ты остался живым перед моими глазами. Я малодушно не подарил тебе шести дней свидания, сам испив потом полную шестилетнюю чашу. И тогда ты приходил ко мне. Нет, не в виде мистических явлений, не в многозначительных снах, просто было ощущение, что ты близок.

...Когда с глухим стуком захлопнулась обитая железом входная дверь тюрьмы и отрубила напрочь все дорогое и светлое, тогда грядущее предстало в виде жутких коридоров, поворотов, подъемов, спусков, по которым меня вели.

Стоя в тесном ящике-шкафе, куда втолкнули до сортировки, я лихорадочно перебирал жизнь, пытаясь сообразить, что привело в этот ящик. И я вспомнил все... Вспомнил и отца — его глаза, улыбку, негромкий голос, предостережения и советы, как если бы недавно расстались с ним. И пришло на ум, что отныне становлюсь ближе к нему, как бы товарищем, повторяя его путь. И на этом пути могу встретить его след.

Перед глазами возникло поле поспевающей ржи. Одинокая тропинка по меже. Золотые колосья закрывают с головой. Иду и грущу, и вспоминаю уехавшего вчера папу, прогулки с ним, наполненные неповторимой близостью к нему, дорогому, всегда занятому своими заботами, человеку. И в дорожной пыли вижу след папиных больших сандалий, такой свежий, что хочется закричать и броситься вдогонку. Но это — старый след. И останешься на месте, потом смотришь вокруг с теплой печалью, и не так одиноко, как минуту назад.

Куда бы ни попал я, что бы ни ожидало меня, все было таким же, что видел и перенес отец. В этапе, на работах, в бараке я видел папу как бы рядом, и представление это было невыносимо. Было стыдно падать духом, но я падал духом...

Я вспомнил, как помог мне отец в самые тяжкие минуты моей лагерной жизни.

В бараке я выполнял обязанности дневального. День и ночь поддерживал огонь в печке, приносил воду, мыл полы и нары, выписывал талоны на питание, раздавал пайки хлеба, выполнял разные хозяйственные работы. Спать приходилось днем урывками, но только закроешь глаза, теребят: «Сходи, принеси, сделай». Я мог спать стоя, заснуть на ходу, в голове стоял чад.

Я был всегда голоден, и, когда я грезил о еде, она виделась мне горбушкой хлеба. Однажды на лотке оказалась лишняя пайка. В испуге и борьбе я отнес ее коптеру. Тот изумился. «Подставляй»,— сказал он и смел в мою ладонь крошки со стола... Иногда давали лишнюю кашу. Сил больше не было.

Когда я продал начальнику, тоже заключенному, бывшему бандиту, последнюю, не украденную в этапе рубашку, получив за нее пригоршню пшена, сварил и съел, мне показалось, что все кончено, и охватил ужас, черный, как окружающий лес. Все перестало существовать: вера, мужество, воспоминания. Я мог только закричать: «Папа, если не ложь то, что ты говорил, если ты слышишь — помоги!!!»

Была ночь, трещали дрова, стучал, стучал по крыше дождь. Стонали намаявшиеся за день люди. И думалось, что никто не может ответить. А утром пришел на «командировку», так числился наш поселок из трех бараков, зубной врач. Он бывал изредка и только удалял зубы. Мне надо было удалить два, и я пошел к нему. Разговорились. Врач пожалел меня, обещал замолвить слово, чтобы взяли меня на должность статистика в ветеринарную часть. Дня через два меня вызвали в отделение на новую работу. Жить стало легче!

И вот сижу я в комнате, где не был шестнадцать лет. Гляжу на родные предметы и самый родной из них — папин портрет. И понимаю то важное, что он хочет сказать своим взглядом. Он говорит: «Скажи Слава Богу за все, мой сын... Прости обиды, причиненные тебе, чтобы и сам был прощен. Но прощай только за себя, за других никто не вправе. Я был не так молод, как ты, болел душой за каждого из детей, бывал немощен, испытывал и боль, и обиду, и недоумение — ведь все понять никто из людей не может, но я хранил веру. Она помогала мне, будучи исключенным, остаться неискалеченным. Она превратила лагерь во вторую, главную Духовную Академию. Она дала самое ценное сокровище — внутренний мир. И я до последнего вздоха твердил: Слава Богу».

Я вытер глаза и оглянулся. Хлопотала мамочка. Спокойно уснула жена. Деловито строил что-то сынишка. В окно приветливо махали зеленые руки тополей, жизнерадостно звенели воробьи. Мерцал огонек лампадки, задумчивы и ласковы были лики икон. Все было так мирно. И все было родное. И не было решетки.

И я сказал: «Слава Богу за все...»

ОГЛАВЛЕНИЕ

МУЗЕЙ БИБЛИИ

ISBN 5-87335

Сдано в набор 5.03.93. Подписано в печать 19.04.93. Формат 60×90$^{1}/_{16}$. Тираж 2000 экз. Объем 5,25+0,25 вкл. Зак. 77

3-я типография ВО «Наука»
Москва, 107143, Открытое шоссе, 28